

10 лет

ЛИТО «Авангард»

*Сборник стихов, прозы и публицистики
участников анапского молодежного
ЛИТО «Авангард» –
победителя Всероссийского конкурса
литературных объединений «Литосфера»*

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Л 52

Л 52 **10 лет** ЛИТО «Авангард»: Сборник стихов, прозы и публицистики участников анапского молодежного ЛИТО «Авангард» – победителя Всероссийского конкурса литературных объединений «Литосфера» / И.В. Иваськова. – Краснодар: Новация, 2021. – 160 с.

ISBN 978-5-00179-124-9

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Молодёжное литературное объединение «Авангард» благодарит за всестороннюю помощь и поддержку Союз писателей России, Совет молодых литераторов СПР и анапский Центр культуры «Родина»

ISBN 978-5-00179-124-9

© ЛИТО «Авангард», 2021

Каждая книга – событие в жизни писателя. Книга, пахнущая типографской краской с магнитно потрескивающих разлепленных страниц, – событие знаковое, смыслоутверждающее, ключевое. Ибо она, книга, есть завершающая материализация раздумий и переживаний никогда никому до сего момента невидимых, никем и ничем не измеримых – дней ли, месяцев или лет. Жизнь писателя прежде всего и размечается датами изданий – выходов книг, это потом уже имеют важность рубежные цифры сроков его учёбы, периодов трудовой или служебной деятельности. Его жизнь, действительно, этапна от публикации к публикации – момент выхода книги и есть момент разделения периодов раздумий о том или ином, переживаний того или иного, что уже будет не так важно в работе над новой книгой.

Коллективный сборник – особая книга. Это уникальный по объёмности картины итог неких мыслей и чувств, владевших в конкретный исторический период целой группой писателей, и поэтому коллективный сборник многократно точнее и правдивее обрисовывает этот свой исторический отрезок. И здесь непереоценимо уточнение «целой», то есть, – цельной, единой, объединённой. Объединённого пониманием и эмоциональной оценкой происходящего с каждым, с родными и близкими, со всеми-всеми думающими и чувствующими.

Поздравляю литературное объединение «Авангард», материализовавшее свою-нашу историю! Работаем дальше, наполняем своим творчеством наш общенациональный литературный процесс.

*Василий Дворцов,
заместитель председателя Правления – генеральный
директор Союза писателей России*

Бывают такие часы, дни, месяцы и даже годы в жизни человека, когда ничего не нужно, не интересно, кроме... Это состояние хорошо передал Лев Николаевич Толстой в своём великом романе «Война и мир», описывая Наташу Ростову, ожидающую встречи с Андреем Болконским: ничто не может отвлечь её от устремлённости, не может войти в её душу, придав какие-то смыслы всему происходящему вокруг.

Мне бы очень хотелось, дорогие друзья, чтобы литература и литературное творчество всегда являлись для вас одними из интереснейших устремлённостей, около которых бледнеют другие явления. Мне бы очень хотелось, чтобы, создавая миры, а каждое произведение – это заново созданный мир в авторском понимании его единства и многогранности, вы бы творили будущее мировоззрение своего поколения и последующих, опираясь на базисные основы, наполняя созданное светом веры, любви и надежды. Вы пишете на русском языке, думаете русским языком, и очень важно, чтобы в словах, которые наполняют вашу многокрасочную художественную палитру, были глубокие русские корни. Потому что именно язык формирует человеческое сознание.

Очень радостно быть свидетелем становления анапской литературной школы, благодаря которой в 2020 году Союзом писателей России городу-курорту Анапа присвоен статус «Литературный город России». В мае 2021 года литературное объединение «Авангард» советом писателей-мастеров признано лучшим в стране. Я уверена, что местный литературный потенциал далеко не раскрыт, и залогом будущих достижений являются организованная литературная учёба, постоянно действующие семинары и мастер-классы, ваше участие в литературных конкурсах и проектах, прежде всего организуемых Союзом писателей

России и его Краснодарским краевым отделением. Об этом же свидетельствует новый сборник стихов и прозы, которому я хочу пожелать самого широкого круга читателей. И пусть в «Авангарде» растут и крепнут уже собранные таланты, открываются новые имена, которыми будет полниться отечественный литературный процесс.

*Светлана Макарова-Гриценко,
председатель Краснодарского
регионального отделения
Союза писателей России,
главный редактор журнала
«Краснодар литературный»,
заслуженный деятель искусств Кубани*

Моя анапская одиссея

Первое моё знакомство с Анапой случилось в 1994 году. И, как часто бывает в жизни, чтобы достичь цель, пришлось сделать изрядный крюк.

Я была начинающим подростком, сестра моя две недели как вышла замуж. От почти развалившегося предприятия, дышащего на ладан, нам внезапно щедро выдали путёвки на отдых.

В Краснодаре нас встретил автобус, мало отличающийся от трактора, и отвёз готовых отдыхать уральцев на базу с треугольными домиками, делящимися на две половинки, и столовой вдоль забора. Из потенциальных развлечений нам предоставлялся азовский шторм и рыбалка на канале.

Радости было без меры, море многие из нас увидели впервые, а ещё был разгар сезона фруктов. Экскурсионную программу тоже запланировали – выезд в Анапу.

В первую неделю мужикам ещё не надоела рыбалка и местное вино, поэтому наш жёлтый автобус-раздолбайчик, отправлявшийся на экскурсию, заполнили хлопотливые тётушки с детьми. А поскольку этим деткам предстояло в ноябре жевать лишь подмороженные плоды яблони-дички, мамочки решили затариться на югах по максимуму и вывезти, сколько смогут. А если фрукты начнут портиться, кушать их в дороге – про запас.

Мы выехали из Темрюкского района в Анапский. Начались виноградники и сады. Первым оказался яблоневый.

– Останови! – попросили тётушки водителя.

– Нельзя, – ответил дяденька.

– Ну что ж ты за человек?! – возмутилась одна дама.

– Смотри, сколько яблочек! – вторила ей другая.

– Мы только попробовать! Что за сорт, не кислое ли? – откликнулась третья.

По автобусу пошла суета. Навалились гурьбой.

– Ладно, – сдался дядька, – но только как просигналю, все в автобус!

– Разумеется! – согласились тётеньки и высыпались на волю с корзинками.

Сигналил водитель, пока корзинки не заполнились. Злился, ругался, но что с них, диких, взять – деревня!

А тётеньки на его гнев внимания не обратили. Кто хрумкал наливным плодом, кто гордился, что самое крупное нашёл или поспелее.

Едва гомон затих, за яблоневым садом показался грушевый.

– Останови! – хором закричали страждущие. – Христом Богом молим! Дети одну грушу в год видят! Останови!

– Ни за что! – мужественно держался водитель.

– Да знаешь ли ты, как сладкого не есть? – кричала одна детская заступница, а следом заводилась другая. – Ты ребёнка на одной рябине держал? Зажрались они тут!

Водитель поднял белый флаг.

– Только как просигналю – пулей в автобус, здесь же всё под охраной!

– Обижает! Конечно! – полетело со всех сторон. Тётки уже стояли у двери с теми же корзинками, кто-то нащупывал спрятанные за пазухой авоськи.

Кинулись к грушам врассыпную. Половина яблок, а то и больше, была высыпана под грушевые деревья. Кто-то усвистел поглубже в сад, чтобы собирать добро не у самой дороги – барышни стали разборчивей.

Водитель жал на клаксон, пока не были выбраны самые лучшие плоды.

Не так хрустко, но более сочно и сладко заходили довольные женщины в райскую карету. Водитель кричал, даже матерился, но что значило его недовольство в сравнении с ароматной грушей?

«Следующая станция – Анапа...» – предвкушали отдыхающие.

Однако здесь случился виноградник.

– Тормози, ирод! – на водителя напали с разбегу. Пока он артачится, виноградник может и закончиться! С испугу шофёр подумал, что на дороге неладное, и резко затормозил. Двери бабоньки открыли самостоятельно.

Яблоки и груши полетели на землю – они хоть раз в год, но есть, а вот виноград... Никогда! Грозди драли подряд, без разбору, и так пропитались соком, что даже пчёлы были не против забрать к себе в улей какую-нибудь упитанную уралочку.

Водитель понял, что справиться с этими оголодавшими нельзя, развернулся и поехал на скорости пешехода, постепенно разгоняясь. Тут уж бабоньки опомнились – пёхом дуть обратно, да ещё с поклажей, не хотелось.

Дальше ехали молча, урожай не обсуждали. Даже дети молчали.

Приехали на базу, с Анапой так и не поздоровавшись.

Злые и уставшие женщины искупались и начали пить с горя, а мужики-то на базе были с утра, обрадовались свободе и к приезду экскурсантов оказались уже готовенькие, досыта испробовавшие божоле от тёти Гали. Ночных семейных драм было не избежать.

Утром выжившие снова поехали в Анапу.

Меня отправили вместе с какой-то тётёй, лицо которой я никак не могла запомнить и узнавала её по сарафану. Остановиться в дороге не просили, знали – больше не шофёр на уговоры не поддастся.

Так мы и доехали до долгожданной светлой Анапы, где я впервые сама купила мороженое – непомерно дорогущее, иностранное, которое в нашем захолустье видела, может, раз или два, но кто бы мне его дал?! А тут свобода – покупай без надсмотра.

Вот и район морского порта, верхняя набережная. Спустились туда, где проходит граница каменного и песчаного пляжа, а там забор и платный вход! А денег после покупки мороженого у меня не осталось.

Вверенная мне тётя ушла купаться, а я осталась ждать всех, сидя на бетонных прямоугольниках. Глядя через забор на кишаше-веселящихся людей, я еле сдерживала слезы. Мороженое проклятущее – жизнь не удалась! Как меня не забыли на обратном пути, до сих пор не понимаю, ведь сквозь белый шум в голове я не могла отследить даже жизненно нужные сарафаны.

К счастью, вернулись на базу благополучно. И обиды вскоре забылись, потому что, кроме отдыха, были ещё четыре дня в пути в закрытом пространстве, а потом целая жизнь.

На этих бетонных блоках я сидела потом не раз, вглядываясь в горизонт и ища у моря поддержки, потому что Анапа – город, в который возвращаются.

Вернулась и я. И живу здесь уже десять лет.

Жду, очень жду, когда откроют границы наших регионов и придут в мой сад-огород по черешню и вишню друзья с Урала. И будет весёлая детвора обносить ягоду с деревьев, мамы варить варенье, а папы пробовать наше собственное божоле.

Будь моим деревом

1

– Моя первая жена хорошая была женщина, – Олег Петрович потянулся и зевнул, – но вот слишком уж... – он защёлкал пальцами, подбирая слово, – энергичная!

Собеседник его, пожилой мужчина в тёплом пальто, вопросительно поднял брови.

– Да-да, – закивал Олег Петрович, – слишком! Утром проснёшься – не соображаешь ничего, глаза открыть не можешь, а она уже всюю крутится. Гимнастика какая-то хитрая, потом варит чего-то, потом на прогулку несётся. Но это полбеды...

Олег Петрович задумался, вспоминая. Пожилой мужчина развернул было газету, надеясь на окончание разговора, но погрузиться в чтение не смог.

– Полбеды, понимаете? – остановил его Олег Петрович. – Женщина, и в особенности жена, должна умиротворять, правда? А она наоборот – раздражала. Музыка услышит – тут же танцует, встретит кого знакомого – кричит на всю улицу, обниматься лезет. Подаришь ей чего – машет около глаз, будто рыдать собралась и её вроде как жар разбирает.

Олег Петрович помахал ладонями перед лицом, изображая.

– Нет! Не уговаривайте даже! – продолжил он, а пожилой мужчина обречённо сложил газетные листы вчетверо. – Я категорически против. И не спрашивайте, зачем женился! Не спрашивайте! Я и сам не знаю.

Мужчина поднялся со скамейки и слегка поклонился.

– Вам уже пора? – Олег Петрович глядел с искренним огорчением. – Такая погода! Воздух! Что ж... – крикнул он вслед уходящему, – увидимся как-нибудь ещё!

Первая жена Олега Петровича, слишком энергичная, но хорошая, сейчас не узнала бы своего бывшего мужа. Они рас-

стались больше пятнадцати лет назад – удивительно холодный и ветреный выдался тогда апрель. Олег Петрович, взяв пример с ветра, всё уходил куда-то из дому, и не сказать, чтобы к новым женщинам, а больше к друзьям. Но и женщины какие-то были, и музыку включали, а свет гасили, но всё это было так, по-апрельски несерьёзно. Олег Петрович, тогда худой, с чёлкой, в очках – курил на дружеской кухне, жаловался, неспешно пил чай – печень уже тогда шалила. Друг кивал, сочувствовал и очень хохотал, когда Олег Петрович показывал, как жена делает гимнастику.

Возвращаться домой было немножко стыдно. Жена энергично брала его за руку и спрашивала – что же не так? Потом ушла – на диво бесшумно. А Олег Петрович женился второй раз – на одной из каких-то мелькавших рядом женщин, но снова остался недоволен и браком, и жениными повадками. Если бы пожилой его собеседник не ушёл, Олег Петрович пожаловался бы и на вторую жену – как назло, она, в полную противоположность первой, оказалась медленной и молчаливой. Готовила фруктовые желе и холодцы – холодные, подрагивающие; каши – тягучие, слизистые; уважала сливочные ликёры и густые молочные коктейли.

В этом браке Олег Петрович растерял удобу и лишился чёлки – облысел как-то быстро и равномерно. Но был от второго супружества и плюс – вторая жена его трудилась доктором-окулистом и помогла ему избавиться от натирающих переносицу очков – себе же на беду. Прозревший после операции Олег Петрович разглядел мелкие прыщики на её спине, стал глядеть ещё и нашёл всякого-неприятного: один зуб у жены был желтоватый, и пальцы на ногах слишком уж длинные... Развёлся быстро, очень переживал, и больше не женился.

– И не то чтобы не хочется... – говорил Олег Петрович друзьям, – но какая-то опаска уже присутствует, – и с лёгким презрением косился на дружеских жён: одна пухлая, другая красится глупо, а эта и вовсе оскорбительно не накрашенная.

Олегу Петровичу не было ещё и пятидесяти – и расположился он в этом неопределённом возрасте с некоторой радостью: уже не нужно изображать юность, подтянутость, а до настоящей слабости и немощи ещё очень далеко. Всё было при нём: хорошая квартира, необременительная, невеликая, но всё же начальственная должность, личная свобода. И чувствовал он себя удивительно покойно – знал, что живёт на своём месте и своей жизнью.

Отправляться на прогулку Олег Петрович сегодня не планировал. Но день нынче выдался очень уж приятный: пятница, и служба порадовала, а потом небольшой банкет случился – и подавали там чуть горьковатое красное вино, приведшее Олега Петровича в несвойственное ему романтическое настроение. Он забыл про печень, смотрел сквозь тонкое стекло бокала на весёлых сослуживцев и даже позволил себе раскованную шутку. После банкета весёлые сослуживцы разбежались врассыпную; кто-то в одиночестве, а кое-кто навстречу мужьям или жёнам с детьми, собаками, супермаркетовыми пакетами. Семейные стайки – кто со смехом, кто с упрёками – рассаживались по автомобилям; одиночки двинулись к метро, и все махали Олегу Петровичу на прощание как-то особенно душевно. И он кивал и улыбался в ответ, растроганно думая, что эти пять человек, пять его подчинённых, которых в обычные дни он нередко распекал и, по его выражению, ставил на место, – и есть его семья. Знал он, что к понедельнику эти мысли исчезнут, и от этого чувствовал себя ещё лучше: щурил глаза, представляя, как выглядит со стороны – солидный, умеющий владеть собою, но очень редко позволяющий себе маленькие человеческие слабости...

Он отправил в рабочий чат одобряющий смайлик, потом подумал и удалил сообщение. Прикрыл лысину шляпой и собирался было вызвать такси, но винные пары всё не отпускали, кружили и увлекали вверх по улице – в городской парк, где зеленоватой дымкой кудрявилась свежая листва тополей.

Добравшись до центральной аллеи, Олег Петрович немного устал и решил присесть. Все скамейки были заняты, и он выбрал ту, на которой сидел приличного вида старичок с газетою. Но разговора не вышло, и теперь Олег Петрович остался один – оглядывался, понемногу теряя хмель и ёжась от вечерней прохлады, выползающей из-за деревьев.

Где-то за деревьями была река – Олег Петрович видел её краешек из окна своего кабинета, но уже совсем не помнил ни запаха, ни цвета её воды. Смутно помнилось ему, что первая жена любила бегать по набережной и всё рассказывала ему какие-то глупости: что-то о том, как ивы полощут в быстром течении кончики своих серебристых кос, и что бег воды и перебор прибрежных камешков похож на тихую музыку.

Олегу Петровичу стало скучно. Хорошая публика – мамы с колясками, порядочно одетые дамы средних лет, чистенькая молодёжь – уже расходилась. Вместе с вечерним холодом со стороны реки двинул народ подозрительный, не подходящий гладко причёсанной центральной аллее и норовящий войти в парк с чёрного его хода, и Олег Петрович решил своё внезапное приключение завершить. Пообещав сам себе непременно погулять здесь ещё – но днём, он встал и направился к выходу.

Он шёл, и всё оглядывался на оставленную им скамейку, и отчего-то жалел её – вот, сидел на ней приличный человек в костюме и плаще, а теперь расположится всякая дрянь... Удивляясь своей внезапной сентиментальности и не глядя вперёд, он вдруг налетел на что-то твёрдое и тёмное, охнул и упал на колени, слыша отчего-то звон и треск.

– Что такое... – пробормотал Олег Петрович, поднимаясь, – что за безобразие?

Перед ним, прямо на аккуратно уложенных плитках аллеи, сидела девушка, совсем молоденькая, лет семнадцати. Обхватив обеими руками лодыжку, она поскуливала тоненько, как щенок, но смотрела не на ногу и не на Олега Петровича, а влево – на лежащую рядом и треснувшую с одного бока гитару.

Олег Петрович сообразил, откуда был слышен звон и треск, и устыдился.

«Такой был хороший день»... – с сожалением подумал он и потёр ушибленное колено.

– Ну-ну... – сказал он девушке. – Тебе... Вам стоит быть повнимательней. Я, конечно, заплачу. Сколько стоит ваша... твоя гитара?

Олег Петрович путался в «ты» и «вы» и злился сам на себя, не зная, как вообще положено разговаривать с девицами таких лет? Была бы она красавица, можно было бы выбрать тон покровительственный, но шуточный – мол, знаю я все ваши штучки – так Олег Петрович обычно разговаривал с секретаршами. Но девушка была круглолицая, пухленькая, со странной причёскою – три косы, а поперёк лба тесёмка с блестящими камешками.

– Э! Ты чё творишь? – со стороны оставленной Олегом Петровичем скамейки двинулся к нему, неприятно поводя плечами, высокий юноша с длинными, убранными в хвост волосами, в пыльных джинсах и чёрной футболке. Был он не один – за ним из быстро сгущающихся сумерек тянулись другие, глядевшие с угрозой и любопытством.

Олег Петрович растерялся. Снял зачем-то шляпу, откашлялся – но сказать ничего не смог.

– Нормально всё, ребята! – девушка поправила свою блестящую тесёмку и протянула Олегу Петровичу руку. – Помогите встать.

Он послушно потянул её вверх, поднял и гитару.

– Нормально всё, – повторила она, и пыльный юнец остановился. – Я споткнулась просто. Не мой сегодня день, Эдик. А это мой папа, кстати. Погулять со мной захотел.

– Папа? – недоумённо спросил пыльный и усмехнулся. – Ладно, Линка, как скажешь. Если что, позови.

Неприятный юноша удалился в сумерки, а Олег Петрович смог, наконец, заговорить.

– Папа? – спросил он у девушки, протягивая ей треснувшую гитару.

– А что не так? – ответила она и улыбнулась. – Может, вернуть Эдика?

– Нет-нет, не стоит, – спохватился Олег Петрович и сообразил улыбнуться в ответ. – Спасибо вам... тебе...

– Проводишь меня, ладно? А то мне идти больно. Я тут недалеко, через дорогу, – сказала девушка и, не дожидаясь ответа, взяла Олега Петровича под руку. – Ногу ещё полгода назад растянула, так теперь чуть что – сразу хромаю. Долго заживает. Были у тебя когда-нибудь растяжения? Гитару сам понеси, а я за тебя держаться буду.

Олег Петрович, справляясь с внезапным головокружением, прижал гитару к левому боку и повёл прихрамывающую девицу по центральной аллее к выходу из парка.

2

Отец снился Лине частенько, но она никогда не могла разглядеть его лица. И поговорить с ним никак не получалось – чаще всего в её снах отец лежал, раскинув руки в той особой расслабленной манере, какая доступна лишь человеку, лишившемуся сознания. Вокруг толпились врачи – перебирали прозрачные трубки, звенели металлом, шептались, поглядывая друг на друга поверх масок, но отца от Лины не заслоняли, и она видела, как неподвижно и плоско лежит зелёная ткань больничной рубахи на его груди.

Лина просыпалась в недоумении, листала сонники – по всему выходила ей тоска-печаль, а ещё неприятные разговоры и ссоры. Она вставала, шла на кухню и шаркала ногами, и самой было неприятно от этого старческого шарканья и слабости. Мысленно надавав себе тумачков и окончательно проснувшись, Лина заваривала чай, грызла печенье и вспоминала, что мама рассказывала об отце и прежней их жизни.

Со временем рассказы эти Лине так хорошо запомнились, что казались собственными воспоминаниями: будто бы сама видела она сухой южный городок, душную съёмную комнатку с двумя кроватями и тумбочкой меж ними, и каждое утро провожала отца с мамой на работу, сидя на табуретке и болтая ногами. Но на самом деле до Лениного рождения оставалось ещё два года, и мама была ещё худая, с короткой стрижкой, а папа всё радовался, как удачно они устроились и что работёнка у них не бей лежачего.

По утрам, прихватив бутербродов, они садились в автобус и отправлялись за город, в свежестроенный коттеджный посёлок. Было здесь когда-то озерцо с камышами, но его осушили, оставив лишь болотце; по вечерам из болотной жижи поднимались тучи мелких, злобных и неуловимых кровопийц, и, словно в отместку, медленно, но верно, оседал в зелёную лужицу отведённый под сады-огороды грунт.

Забор в конце участков из-за оседающей земли поставить не удалось, и умница-застройщик радовался, что раньше догадался не спиливать растущие по берегам озерца ивы. Серебристые пряди, почти касавшиеся земли, давали лёгкую кружевную тень, шелестели на ветру, скрывая то, что нужно было скрыть; и сами домишки, выстроенные по модным лекалам, гляделись легко и задорно: чистенький оранжевый кирпич, красные крыши, умытые окна – да не простые, квадратные, а высокие, в полстены, вырезанные полукругом по верхнему краю.

Местные жители только качали головами, жалея будущих хозяев: комары сожрут, земля из-под ног уйдёт, стены тонкие, крыши собраны кое-как, и вместе с этими хитровыдуманными окнами не удержат лютые зимние ветра и ливни.

Но покупатели – люди нездешние – видели только трепет ивы и весёлый рыжий кирпич, а уж внутри домишек и вовсе теряли дар речи: зря что ли застройщик расставил по комнатам фасонистых кроватей с вензелями на спинках, укрыл их пушистыми покрывалами, а в изголовьях повесил картины – то

с обнажённой девицей, то с кораблём, стоящим в ровном, как одеяло, море.

Но даже с блестящими шторами и мягкими креслами дома отчего-то не выглядели жилыми, и было внутри них неуютно, тихо и пусто. Домам нужны были люди.

Автобус довозил отца с мамой почти до самых ворот посёлка. В будочке охранника они получали ключи, а после, не торопясь, будто бы вживаясь в роль, шагали по укрытой плиткой аллее к дому под номером шесть.

Отпирали калитку – мама непременно заглядывала в укреплённый на ней почтовый ящик, будто бы ожидая письма, – и входили во двор. Мама тут же хваталась за лейку, поливала полосатые петунии, гнездившиеся в пластиковых горшках, а после выметала со двора сухие цветки и листья. Отец отпирал дом и распахивал окна – комнаты нужно было хорошенько проветрить – и брался за швабру. К половине десятого в доме было свежо и чисто.

Отец включал в гостиной телевизор, выбирая какой-нибудь музыкальный канал, а мама доставала из холодильника упаковку яиц и молоко. Мука хранилась в шкафчике у раковины. Там же стояла и большая бутылка подсолнечного масла.

Около десяти мама разбивала в миску три яйца, разбавляла их молоком и маслом, добавляла муку и, не торопясь, перемешивала жидкое тесто вилкой. Отец доставал из кладовки лопату и шёл в огород.

В одиннадцатом часу возле калитки останавливалась длинная белая машина. Выбирались из неё, щурясь от утреннего, но уже ослепительного солнца, незагорелые люди – чаще всего немолодые пары, реже – одиночки. С водительского места выходил Аркадий – смуглый, гладко выбритый, всегда с капельками пота над верхней губой и на лысине. Аркадий, улыбаясь, распахивал перед своими пассажирами калитку и,

не оборачиваясь, нажимал кнопку на брелоке сигнализации. Машина тонко взвизгивала, и двери её запирались со щелчками, похожими на стук мышеловки.

– Покупатель должен понять вот что, – растолковывал Аркадий отцу и маме, принимая их на работу в мае. – Вы в этом доме живёте хорошо, и продавать вам его жалко. Продукты из холодильника не жрать, я всё проверю. Телевизор включать в половине десятого – только музыку, никаких ток-шоу и новостей. Ты! – Аркадий ткнул в отца пальцем, – в десять идёшь в огород. Копаешь там хорошенько. Если поинтересуются – скажешь, всё решил перекопать и сделать газон. – А ты! – поглядел он на маму, – тесто месить: три яйца, мука, молоко и масло. Печку включишь – прогоню обоих. Покупатели уедут, тесто в холодильник поставь, я потом заберу. В сортире чтоб чистота была. В душ не вздумайте лазить. На кроватях будете валяться – сразу уволю. На диван садиться только при покупателях. Если спросят, почему продаёте, говорить, что сестра на Урале родила тройню, и вы решили всё продать и ехать ей помогать, ясно? Я привожу покупателей в десять, в двенадцать и в три. После трёх всё выключили, закрыли и ушли. Ключи сторожу отдали. За день работы даю пятьсот рублей. Устроит?

Отца и маму всё устроило.

Покупатели любопытничали, заводили беседы, и в отце обнаружили вдруг недюжинные актёрские способности. Мама немного стеснялась, всё возилась со своим тестом, а отец по-хозяйски раскрывал двери комнат, рассказывал о тройняшках-племянниках, даже не дожидаясь вопросов, а потом, в саду, махал руками, показывая, где была у него капуста, а где помидоры, и что надоели они ему хуже чертей, и решил он разбить по всему саду газон, а она – махал он в сторону мамы – пусть бы уж цветов своих бесполезных по краям рассадила, и вообще, если бы не тройня и не подлец сестрин муж, кинувший её перед родами и все деньги с собой прихвативший, ни в жизнь бы они с этой земли не тронулись.

Аркадий улыбался, покупатели сочувствовали.

Когда белая машина уезжала, отец и мама отдыхали. Перекусывали припасёнными бутербродами, сидели рядышком на скамейке, любясь пляшущими на ветру ивовыми ветвями. Когда становилось жарко, уходили в дом, лежали на мягком ковре в гостиной и молчали, не забывая следить за часами. Они загорели и были очень счастливы – каждый день с девяти до трёх.

Даже по маминым рассказам Лина очень полюбила тот дом. Одноэтажный, приземистый, выстроенный не для человека, а для продажи. Полюбила полосатые петунии, иву в конце огорода, огромные окна, охотно впускавшие в дом солнечный свет. Полюбила тишину, мягко опускающуюся на дом и двор сразу после отъезда белой машины. Очень хорошо представляла, как мягко и легко входит лопата в десятки раз перекопанную землю, как стучит венчик о керамическую миску, как льётся на полосатые петуниевые цветки прохладная вода. Привязалась даже к соседям – пожилым тётке Свете и дяде Серёже, таким же ненастоящим хозяевам, которых уволили ближе к августу, потому что тётя Света, несмотря на строгий запрет, сварила себе кофе и упустила его, залив блестящий хром печки. И Лина чувствовала то же, что и мама с отцом, ежедневное сожаление, когда нужно было запереть дом и калитку, отдать ключи сторожу и вернуться в крохотную равнодушную комнатку со следами убитых комаров на белёных стенах.

Уже к началу осени десять домиков в посёлке были проданы. Последний, под номером шесть, продали пятого сентября. Мама и отец на сделке, конечно, не присутствовали – вместо них, вооружившись нужной доверенностью, все подписи оставил Аркадий. Он передал новым хозяевам ключи и только пожимал плечами в ответ на все их вопросы о прежних владельцах.

Отец звонил Аркадию и спрашивал, не найдётся ли у него ещё работы, желательно такой же, непыльной. После двух

бессмысленных разговоров Аркадий перестал брать трубку, а мама плакала по ночам, причитая, что хочет домой, под-разумевая под домом тот, ивово-комариный оазис.

В конце октября, в самый разгар нежнейшего бархатного сезона, отец и мама покинули свою съёмную комнатёнку и отправились на вокзал, насмешив кассира просьбой продать им билеты куда-нибудь на Урал.

– Город, город мне назовите, мужчина! – кричала она, смеясь, а отец смотрел на маму растерянно.

Мама ещё спала, Лина старалась не шуметь и даже кружку мыть не стала. Уткнулась в телефон, листая разноцветные ленты новостей, раскрывая не отвеченные сообщения, стирая ненужные письма.

С мамой они вчера поссорились, потому что Лина рассказала ей, что собирается поехать на юг работать русалкой. А когда заработает много денег, откроет собственный морской аттракцион – наверняка это очень просто, если подойти к делу с умом – девочки на ютубе об этом всё-всё подробно рассказывали. А уж на собственном аттракционе можно заработать кучу денег и, может быть, – тут Лина выложила свой главный козырь – купить на юге небольшой домишко. Лина старалась, описывая свой будущий хвост – изящный, блестящий, гладенький, и длинные волосы, несущиеся за нею как медузовые щупальца, а на груди – как и положено у русалок – две плоские ракушки, скреплённые в морской лифчик. Или океанский – так лучше звучит. И сделать-то осталось самую малость: уехать из серенького – ни рыба ни мясо – городишка к нежному югу, устроиться там в океанариум или какой-нибудь туннельный бассейн, а там уж выплывать навстречу гостям, прижимать ладони к толстому стеклу, улыбаться и отмахиваться от стремительных рыбок.

Мама сначала слушала с недоумением и молча, а потом, конечно, разошлась.

– Да ты даже плавать толком не умеешь! – кричала мама, краснея и задыхаясь, – ты как папаша твой, с шилом в заднице, ничего по нормальному сделать не можешь! И так сидим тут на птичьих правах, а я уже двадцать лет как перекасти поле болтаюсь! Сначала с ним, теперь вот с тобой! А я, может быть, совсем другого заслужила! Я, может быть, совсем не так хотела жить! Какие русалки, к чертям собачьим? Точно, как отец – придумаешь полоумие какое-то и радуешься! То гитара эта, на голове вечно бардак, шляешься неведомо где по ночам!

Она махнула рукой, а Лина замерла – может быть, вот прямо сейчас мама расскажет то, что наотрез отказывалась рассказывать: почему и куда ушёл от них отец, где он может быть сейчас и можно ли его найти? Ведь у неё, у Лины, точно такое же шило в заднице, и они наверняка бы поняли друг друга!

Но мама больше ничего не сказала, ушла в комнату и закрыла за собой дверь.

Целый день они не разговаривали. Еле дождавшись вечера, Лина прихватила гитару и сбежала в парк – к своим.

3

Девушка открыла дверь и впустила Олега Петровича в прихожую – тёмную и тесную, напичканную острыми вешалками, полками, тумбами; увешанную одеждой – сплошь серой и чёрной, уставленную отчего-то непарной обувью – один сапог, один тапок... Олег Петрович немедленно наткнулся плечом на металлическую ветку вешалки, засопел, потирая ушибленное место, повернулся, попятился и споткнулся.

– Тихо ты, тихо! – девушка удержала его за рукав пиджака. – Мама услышит. И не разувайся, – она потянула его вперёд и влево, – вот тут кухня.

Олег Петрович, не разбирая пути, шагнул за неё, повернул куда-то в темноту и зажмурился от брызнувшего вдруг в глаза яркого света.

– Люблю, когда светло! – сказала девица и подвинула поближе к Олегу Петровичу хлипкую табуретку. – Садись, папуля.

– Я, наверное, пойду, – неуверенно ответил Олег Петрович. – Сколько я тебе должен за гитару?

Вино из его головы окончательно испарилось, остался лишь звон и страх – а ну как выскочат из соседней комнаты бугаи, отберут бумажник, телефон? А если ещё и побьют? Как это так вышло – пару часов назад сидел себе в хорошем ресторанчике, веселился и вдруг оказался непонятно где в убогости и тесноте? И ведь даже не расскажешь потом никому, что с ним приключилось – не поймёт никто. И как ей теперь отдать деньги за гитару, чтобы бумажником не светить?

Он оглянулся вокруг – бывать в таких крошечных кухнях ему не приходилось с юности. Однако стол был чистый, светились белым кухонные шторы, выстроились на сушилке у раковины до блеска отмытые тарелки и чашки, а над столом висела фотография пожилого мужчины в толстом галстуке и очках.

– Дедушка? – кивнул Олег Петрович на фото только для того, чтобы что-нибудь спросить.

– Не-е-т, – протянула девица, – это хозяин квартиры, он одноногий и почти не встаёт. А мы за ним с мамой присматриваем, ухаживаем, и за это здесь живём. А вчера его в больницу забрали, что-то с сердцем. Но у него частенько бывает.

Она достала из сушилки две чашки и включила чайник.

– Чаю?

Олег Петрович открыл было рот, чтобы отказаться, но в кухню из тёмного коридора бесшумно вошла невысокая полная женщина – немолодая, с пушистыми распущенными волосами, слишком длинными для её возраста и роста.

Увидев Олега Петровича, женщина охнула, пошатнулась и оперлась спиной о стену, чтобы не упасть.

– Лёша... Лёшенька! Ты вернулся!

Она кинулась к Олегу Петровичу и обняла его, замерев и даже не дыша.

От её волос пахло кухонным чадом, и обхватила она Олега Петровича так, как держат соперника уставшие боксёры.

– Простите, – сказал он, осторожно пытаясь освободиться от объятий, – извините...

– Лёшенька, как же мы долго тебя ждали, – прошептала женщина и подняла лицо, вглядываясь в Олега Петровича с восторгом.

От изумления он даже перестал сопротивляться её рукам и отчего-то, не отрываясь, тоже смотрел в её лицо – печальное и бледное, будто бы отсыревшее.

– Мам! Мама! Отпусти его! – смеялась девица. – Это не папа! Он мне гитару сломал, обещал новую купить! Не папа это!

Женщина снова охнула, отпустила Олега Петровича, отступила на шаг и прищурилась.

– И правда не он... Но похож... Немножко.

Она неловко улыбнулась и поправила волосы.

– Вы простите... Я обозналась... Гитары, значит, продаёте?

– Не продаёт, а сломал, – вставила девица, но женщина её будто бы и не слышала.

– Вы извините, – повторила она, – я не нарочно. Муж просто уехал, а я его всё жду и жду. Должен вот-вот, на днях появиться. Вот и обозналась...

– Бывает, – пробормотал Олег Петрович, изнывая от неловкости, – так я пойду.

– А гитара? – удивилась девица.

– Постойте, – сказала женщина, – вы не обращайте внимания, у нас тут тесновато и беспорядок. А ведь мы когда-то на юге жили... Такой был у нас хороший дом! Двор весь плиточкой, а по бокам я петунию насадила, поливала её каждый день, ухаживала... В доме всё по уму: и ковры, и диваны, и даже картины висели – красивые-е-е... А в конце огорода – огромная ива! А муж-то мой, знаете, чего удумал? Весь огород перекопал, капусту там, помидоры, всё убрал, и газон сделать хотел! Но пришлось наш дом продать и уехать сюда, родне помощь была нужна...

– Мам, перестань, – негромко сказала девица, – не надо.

– Что не надо? Что? – возмутилась женщина. – Ты вообще молчи!

– Представляете, – обратилась она к Олегу Петровичу, – это что вытворяет? Бегает всё в этот парк по ночам, играют они там на гитарах, видите ли. Знаю я эти игры! Ходит как попало, косы плетёт, вон, на лоб какую-то дрянь цепляет. А вчера вообще заявила, что хочет уехать от меня и работать русалкой, вы только подумайте! Был бы отец здесь, он бы мигом ей мозги вправил. Но уехал вот, уехал... Вы простите, что я так глупо обозналась, темно тут, а я растерялась как-то. А я может, ещё пожить хочу, мне ведь всего сорок семь! А вот вы – женаты?

Олег Петрович торопливо кивнул и вдруг – непонятно отчего – с благодарностью подумал о своих бывших жёнах: и о первой, и о второй. Ему снова стало страшно, но не за бумажник и телефон, а за собственный рассудок. Дом? Ива? Русалка? Всего сорок семь?

Но женщина не умолкала и говорила всё быстрее, слова её будто сыпались Олегу Петровичу на голову и больно стучали по макушке.

– Я ей твержу, что нужно по уму жить. Люди вон, – она кивнула на Олега Петровича, – шляпы носят, – а она что? А я ведь тоже поддержки хочу. Дом хочу. Дерево. Почему у кого-то есть дерево, а у меня нет? И вообще устала я, ох как же я устала... Ещё дедушка у нас заболел, сердце у него прихватило...

Женщина закрыла лицо руками и заплакала.

Девица, не глядя на Олега Петровича, обняла её и стала покачивать, словно расстроенного ребёнка.

– Ну не плачь, не плачь, мам, всё будет хорошо! Не поеду я никуда, если ты не хочешь, не поеду! И всё непременно будет хорошо! Вот помрёт дед, квартиру на нас перепишет, и будет у тебя свой собственный дом!

– Ну да, конечно, перепишет он, – всхлипывала женщина, – у него три внука и племянница... А мы ему никто-о-о...

– А он на нас перепишет, вот увидишь! Внуки ему ногти на ноге не стригли, а мы стрижем... – девица гладила женщину по спине и сама еле сдерживала слёзы, – и мы с тобой мигом весь хлам из коридора выбросим, правда-правда! А хочешь, коврами всё застелим – ходить будет мягко. Картины повесим и цветов понасадим на балконе.

Женщина ничего не отвечала и только кивала, вздыхая и дрожа.

Олег Петрович тихонько, чтобы никто не заметил, отступил к коридору. Достал бумажник и вынул из него две красненькие бумажки. Подумал и вынул ещё одну – синюю, подержал и спрятал обратно. Положил две бумажки на табурет и на цыпочках попятился к выходу.

Никто его не удерживал и не окликал; он вышел к лифту, но сесть в него не рискнул, спустился по лестнице и толкнул тяжёлую, на пружине, подъездную дверь. На улице уже совсем стемнело, но так радостно и ровно светили фонари, и смеялись где-то за углом так беззаботно и легко, что Олег Петрович расправил плечи и пошёл вперёд, без труда справившись со странным ощущением – лишь на секунду показалось ему, будто бы он что-то забыл сказать или сделать.

Небелия

«Какой тоскливый мир!» – думал Стависски, сидя на борту опрокинувшегося вездехода и разглядывая плотный белый туман, который покрывал практически всю планету влажным тяжёлым одеялом и никогда не рассеивался. Планетологи выдвинули пятьдесят теорий об особенностях метеорологических условий Небелии, но так и не выяснили причину погодной аномалии.

Туман давил и усыплял. Вести исследования в условиях почти нулевой видимости было невероятно трудно – в основном, психологически. Планета не выглядела агрессивной. Биосфера вела себя более чем спокойно. Даже болезнетворных вирусов и бактерий не нашлось. Кислорода хватало с избытком. Сила тяжести равнялась 0,9 от земной на экваторе. Леса, луга, горы, реки, озёра, моря. Идеальное место. Если бы не проклятый туман. Уже полгода на Небелии космонавигаторы не видели солнца, да и вообще ничего вокруг себя. Передвигались только с помощью приборов ночного видения. Как слепые котята, космонавты тыкались во все углы планеты.

Стависски хандрил почти все шесть месяцев нахождения на планете. Туман белой стеной стоял между внутренним миром и внешним и лишь способствовал самоистязанию. Больше двадцати лет в Космической даль-разведке без каких-либо перспектив для карьерного роста. Вся романтика Космонавигационного флота давным-давно улетучилась. Ни один новый исследуемый мир не возбуждал отклика в душе Стависски, который стал относиться к звёздным путешествиям как к рутинной работе, которая кормила его и ничего более. Когда это случилось, Стависски не заметил. А ведь он так любил Космос! Он понимал, что человек не в состоянии познать Вселенную до конца, но довольствовался тем, что мог хотя бы прикоснуться к её тайнам.

И вот, после двух десятков лет службы Стависски вдруг понял, что больше не грезит звёздами. Он смотрел на вату тумана, но не замечал её. Какая тоска. Ничего не хотелось делать. Вот так бы и сидеть среди этой белизны целую вечность. Время остановилось. Воздух через бактериальный фильтр проходил с небольшим посапыванием, и, кроме этого звука, ничего не слышалось. Стависски остался один во всей Вселенной. Пока из люка вездехода не вылез Сет Робинсон:

– Кажется, удалось передать на базу сигнал бедствия. Помехи, конечно, ужасные. Впрочем, как всегда. Гадкий туман!

Стависски рассеянно покивал головой. Сет продолжал:

– Знаешь, Стен, я даже, наверное, рад, что мы овраг не увидели вовремя. Хотя что-то произошло на этой унылой планетке. Слава Богу, живы, здоровы. Чем не приключение, а?

– Не знаю, не хочу никаких приключений. Ничего не хочу.

Робинсон примостился рядом со Стависски:

– Это туман так действует. Все как в воду опущенные ходят. Тосковать, между прочим, грех большой.

– Отстань, Сет, со своими проповедями! И так тошно.

Робинсон надулся:

– Раздражённые все какие! Не подойти. Сразу кидаться начинают.

Стависски вздохнул:

– Извини, я не хотел. На самом деле, прости. Ты прав, наверное, это всё из-за тумана.

– Да ладно, я же понимаю, – Робинсон огляделся. – Что делать-то будем?

– Ждать, пока за нами не приедут.

Робинсон поморщился:

– Скука смертная.

– А что ты предлагаешь? Вездеход мы сами не перевернём. До горного хребта пешком не дотопаем, слишком далеко.

– Тут километрах в двух озеро.

– Ну, так его излазили уже вдоль и поперёк. Ничего интересного, кроме мелкой рыбёшки и пары видов земноводных.

– Зануда ты! Стен, ради Бога, я и не собираюсь ничего изучать. Я просто хочу на озеро. Искупаться, порыбачить. Когда ещё выпадет такая возможность? Раньше десяти часов нас не подберут. Да и свяжутся по рации, если приедут раньше, – в пределах двух километров помехи небольшие.

Стен, кряхтя, поднялся:

– Да пошли, пошли. Я ж не возражаю. А удочку ты специально заранее с базы прихватил?

– Ага! – ответил довольный Робинсон.

Они тащились сквозь лес, ориентируясь по приборам ночного видения. Деревья стояли редко, но подлесок был хорошо развит, поэтому космонавигаторам приходилось продираться через кусты. Стависски быстро выдохся и пожалел, что согласился идти с Робинсоном. Ну, и прогулялся бы тот в одиночестве до озера, ничего бы не случилось. А сам сидел бы себе даялился в туман. Нет ведь, попёрся. Ни купаться, ни рыбачить Стависски не любил, да и не умел. Не хотел Робинсона расстраивать. Тьфу ты, какие нежности.

Сет, в отличие от Стависски, бодро сопел фильтром и, пошвыстывая, вышагивал впереди, размахивая складной удочкой и сверяясь с электронной картой, прикрепленной к левому предплечью.

– Слушай, Стен! Ты уже столько лет в Космической разведке. Ты, наверное, столько повидал интересного и необычного!

Стависски перестроил визир с зелёного оттенка на серый, чтобы картинка сильнее походила на реальную. Глаза повернувшегося к нему Робинсона зловеще сверкнули в приборе ночного видения.

– Знаешь, на самом деле не так уж и много. В основном, рутинка. Но то редкое, невероятное до такой степени выбивалось из всего того, к чему мы привыкли, что я стараюсь о нём не вспоминать. На самом деле мы так мало знаем о космосе, что становится просто страшно. Я больше не хочу сталкиваться с его тайнами. Мы всё равно вряд ли их раскроем. А я хочу на пенсии чувствовать себя спокойно.

– Слава Богу, что не все такие, как ты.

Стависски пожал плечами спине Робинсона, не желая вступать в полемику. Наконец, они вышли из леса. Перед ними лежало средних размеров озеро. Ничего особенного оно, действительно, собой не представляло.

– Господи, какая красота! – воскликнул Робинсон.

Стависски вновь пожал плечами. Может, без тумана и без приборов оно и выглядело бы красивым, но в таком виде космонавигатор не мог разглядеть ничего восхитительного. Робинсон принялся воодушевлённо раскладывать удочку и насаживать наживку. Стависски сдвинул окуляры на лоб и сразу очутился в мире белого одиночества. Робинсон в виде нечёткого силуэта казался дальше, чем был на самом деле.

Забросив удочку и закрепив удилице на берегу между корней, Робинсон подошёл к Стависски, который уселся на блеклую траву и прислонился к бледно-зелёному стволу прибрежного дерева.

– Ты что, купаться не собираешься?

– Нет желания. Да, честно говоря, и тебе бы не советовал – всё-таки это запрещено по протоколу.

– Ради Бога, сам знаешь, что в озере безопасней, чем в ванной, к тому же я буду первым, кто это сделал, – Робинсон стащил с себя защитный комбинезон и очки ночного видения.

– Я отойду немного в сторону, чтобы рыбу не распугать.

– Ты всерьёз считаешь на уху?

– А зачем бы тогда я нёс сюда снасти?

– Будь аккуратен, не ныряй, – напутствовал Стависски товарища, который разделся донага, чтобы не сушить потом плавки.

– Я быстро, окунись и обратно. А то ведь ты вряд ли за поплавком будешь следить.

Стависски усмехнулся. Робинсон растворился в тумане, слышался глухой всплеск. Стависски поёрзал и прикрыл глаза.

– Космонавигатор Стависски! – командор Курт Ватергут был взбешён, и ему не удавалось не переходить на крик. – Как вы допустили исчезновение Робинсона?! Вы же старший в группе! Сет ещё сосунок!

– Командор! – Стависски пытался сохранить спокойствие, но получалось плохо. А ведь когда-то они были друзьями. Дружили ещё со школы и в Космонавигационной Академии учились вместе, только после её окончания их пути разошлись. Карьера Курта быстро пошла в гору, через три года он стал старпомом, а ещё через семь – командором. Сейчас дослужился до высшего ранга и метил в будущем в адмиралы. Со Стависски они уже сто лет не общались и никогда до этой экспедиции вместе не работали. Но даже теперь, за почти год совместной службы Стависски видел Курта всего второй раз. Первый – при приёме экипажа на корабль.

– Как вы могли разрешить Робинсону купаться в озере?!

– Оно же признано безопасным...

– В каких это инструкциях разрешено купаться в водоёмах на исследуемых планетах? Стависски, не усугубляйте своего положения!

– Курт!

– Молчать! Стависски, вы болван! Вы понимаете, что на вашей совести жизнь человека?!

Стависски похолодел.

– До конца экспедиции вы отстраняетесь от всех выездных исследований и будете находиться под круглосуточным наблюдением. При благоприятном возвращении на Землю решать вашу судьбу будет Независимая Комиссия по Внеземным Делах.

– Курт. Командор, – почти прошептал Стависски, – ты же знаешь, что я ни при чём. Это могло случиться с каждым.

– Могло с каждым, но случилось с тобой, – Курт был непреклонен. – Вас нужно провожать в каюту?

Стависски обречённо помотал головой.

– Надеюсь, понятно, что её вам покидать запрещено, – добавил Курт вслед.

Стависски лежал на койке и смотрел в потолок. Чёртов туман! Теперь Курт хочет всю ответственность за исчезновение Робинсона свалить на него. Неужели он до сих пор не понимает, что командор в любом случае в ответе за всех. И, как бы он ни хотел глубоко закопать Стависски, сам потянется за ним. А всему причиной тщеславие Ватергута. В детстве его всходы давали о себе знать, но мало кто обращал на них внимание. Сейчас же самолюбие Курта расцвело в огромное пышное дерево, однако при его должности оно было к месту. Ну, да и ладно. Пусть не пугает своей Комиссией – для Курта она страшнее, но что же всё-таки стряслось на озере с Сетом? Стависски прикрыл глаза.

После того, как Робинсон плюхнулся в воду, Стависски его больше не видел. Сперва он не волновался, но через несколько минут понял: произошло что-то неладное. Стависски нахлобучил очки на глаза, границы видимого мира сразу же расширились, но из этого мира Робинсон уже исчез. Стависски без надежды на успех прокричал его имя, но звуки завязли в тумане.

Сначала он решил, что Робинсон утонул, но озеро было мелким и подобное вряд ли могло случиться. Стависски залез в воду, не тратя время на раздевание, и обшарил всю прибрежную зону, рассматривая подводный мир прибором ночного видения, но никаких следов не обнаружил. Когда прибыла спасательная команда, он продрог до костей, а на удочку попала большая рыба.

Робинсон вляпался по уши в свои любимые тайны. Внутреннее чутьё подсказывало Стависски, что тот ещё жив, но это ничего не меняло. В космосе смерть иногда предпочтительнее состояний, в которых порой оказывались люди.

Командор ввёл на Небелии протокол для предположительно опасных планет, и космонавигаторы продолжали поиски Робинсона в лёгких скафандрах. За несколько дней

они перешерстили каждый сантиметр озера и прилегающей территории. Робинсон как в воду канул. Курт свернул поиски и возобновил прерванные исследования Небелии. Теперь они велись с крайней осторожностью. Космонавигаторы старались не терять друг друга из вида даже на минуту. Но, к счастью, больше эксцессов не произошло.

Стависки изнывал от безделья в каюте и с лёгкостью убедил себя в своей виновности. Если бы разрешили участвовать в поисках, было бы не так паршиво. Хорошо хоть не лишили доступа к общей информации, и он был в курсе всех исследований, которые выкладывались в локальную сеть корабля.

Стависки принялся изучать эти наблюдения и предварительные выводы научного сектора. Он, конечно, понимал, что его мозгов вряд ли хватит для удобоваримой рабочей гипотезы, раз уж высоколобые разводят руками, но нужно было что-то делать. И Стависки принялся размышлять в меру своих скромных интеллектуальных способностей. Сначала он (как, впрочем, и учёные) попытался выявить возможную причину исчезновения Робинсона. Главным подозреваемым казалось озеро, но у того было железное алиби – его подробно изучили до и после трагедии и не обнаружили ничего мало-мальски тревожащего: воронок, омутов, подземных пещер, ядовитых источников, опасных для человека растений и животных, физических аномалий – ничего подозрительного, в том числе в радиусе нескольких километров.

Окружающий лес представлял собою скорее парк и тоже не тянул на роль похитителя, а тем более убийцы. Существовала, конечно, возможность, что нечто, неподвластное человеческому восприятию, внезапно появилось и, что-то сделав с Робинсоном, исчезло или до сих пор находится там же, только человеческая наука пока не может его обнаружить. Но ценность этой теории, предложенной геологом миссии, равнялась нулю, так как гипотеза ничего не объясняла и практического значения не имела.

Команда учёных зашла в тупик. Как и Стависски. Но ему, в отличие от планетологов, заняться больше было нечем, и он продолжил напрягать извилины. Что в первую очередь бросалось в глаза на Небелии? Конечно, туман. Хотя он тоже был подробно изучен, и в нём не обнаружили ничего особенного – мелкие капли воды, скопившиеся в воздухе. Но почему он покрывал всю планету круглый год и круглые сутки? – В этом заключался главный вопрос. И как связать водяные пары с исчезновением Робинсона? Правильно, никак. Но другого источника проблем не находилось, и Стависски решил без веских оснований обвинить туман в преступлении и штудировать все существующие записи, надеясь выявить доказательства вины.

Учёные давно забросили попытки объяснить туманную аномалию Небелии, так как и без неё перерабатывали «тонны» байт первичной информации о планете. Решать эту загадку не являлось первоочередной задачей экспедиции. Подробней ей займутся следующие исследователи, и, систематизировав информацию о «небел», научный сектор продолжил заниматься другими особенностями планеты.

У Стависски рябило в глазах от диаграмм и графиков, но он упрямо продолжал изучать данные и вскоре обратил внимание, что сгущения тумана не поддаются системе. Планетологи отметили отсутствие закономерности в перемещении капель воды внутри тумана и просто прекратили её искать, но Стависски обнаружил, что это не совсем верно. Ведь закономерность эту никто не прослеживал в отрыве от метеорологических условий.

Стависски не знал правила научного анализа и искал причинно-следственную связь там, где её не могло быть. Это помогло ему сделать вывод, который бы никогда не пришёл в голову рационально мыслящему учёному. Туман с завидной постоянностью сгущался вокруг исследовательских отрядов космонавигаторов, что нельзя было объяснить разумными причинами. И, что самое интересное, одно из наиболее плотных скоплений частиц тумана наблюдалось, угадайте, где и когда.

Вездеход больше часа пробирался сквозь туман на предельно возможной скорости в условиях максимальной нагрузки навигационной и оптической системы. Стависки даже не хотел думать, чем обернётся самовольный уход с корабля, а уж за несанкционированный вывод вездехода за пределы лагеря Ватергут запросто линчует его, не дожидаясь возвращения на Землю, и доложит о нём как о без вести пропавшем. Человеком больше, человеком меньше – уже не принципиально.

Покинуть каюту и вывести вездеход из ангара оказалось пустяковым делом. Стависки никто не охранял – в конце концов, не преступник, да и личный состав был занят исследованиями, а приказа о содержании Стависки под стражей командор не давал. Поэтому космонавигатор вышел из корабля прогулочным шагом, и никому из встречных в голову не пришло, что тот ещё под «домашним арестом». В ангаре из трёх вездеходов присутствовал один, остальные находились «в поле». Да и этот вернулся с одной из разведывательных бригад недавно, следующая партия отправится в экспедицию не ранее чем часа через три, так что хватятся Стависки не скоро.

Почему он не пошёл к командору со своими подозрениями? Почему не проконсультировался с планетологами, ведь его суждение могло быть ошибочным? Стависки не мог и не хотел ответить на этот вопрос. Скорее всего, сыграла роль обида на Курта. Если Стависки окажется неправ – ничего страшного, хуже, чем ответственность за человеческую жизнь, уже не будет. А если он найдёт ответ и спасёт Робинсона, это станет его личной заслугой без помощи всяких высоколобых и зарвавшихся начальников. Ишь ты, мальчишку нашёл сидеть взаперти наказанным!

Стависки притормозил и аккуратно объехал злополучный овраг, который уже значился в памяти навигационной карты. Он немного устал вести вездеход в сильном физическом и эмоциональном напряжении. Туман, туман. Всюду этот клятый непролазный туман. На ведущем экране вездехода границы

видимости расширялись в сером цвете, но в лобовом окне плотная белизна давила непомерной массой. Хотелось выйти и расшвырять её руками, разорвать эти плотные оковы сознания. В таком тумане начинает казаться, что ничего вокруг не существует, кроме тебя самого, а картинка на экране не имеет ничего общего с действительностью. И на самом деле около тебя не туман, а само первоизданное Ничто. И даже не первоизданное, а существовавшее до Создания, до всего этого Бытия, до Света, до Тьмы. А ты, непонятно как очутившийся в этом первичном бульоне творения, скоро исчезнешь, поглощённый этим Ничто, или просто никогда не появишься на свет. Ты один. Один. Никого и ничего нет. И тебя тоже нет. Туман. Страшный туман. Неужели всё-таки в нём скрыта угроза? Неужели эта планета оказалась, несмотря на нейтральную в целом среду, кровожадным монстром?

Стависски сосредоточился на прохождении маршрута. В объезд леса к озеру можно было подъехать почти вплотную. Остановившись недалеко от берега, он на минуту прикрыл глаза, чтобы те передохнули от непрерывного двухчасового бдения. Сердце бешено колотилось, разгоняя тревожную пульсацию по организму так, что космонавигатора потряхивало. Если он облажается – возвращаться на корабль страшно и стыдно, а если нет... Впрочем, Стависски не имел ни малейшего представления о том, что должно случиться. От этого-то и перехватывало дыхание.

Чтобы не сходить с ума понапрасну, Стависски сделал глубокий вдох и вышел из вездехода, включив режим ночного видения. На электронной карте, закреплённой на предплечье скафандра, стояла отметка, где пропал Робинсон. Прогуляться предстояло метров восемьсот. Стависски был почти уверен, что идти именно на то место совсем не обязательно, но на всякий случай решил исключить любую, даже малейшую, вероятность фиаско.

Добравшись до точки, он осторожно осмотрелся. Ничего вокруг не вызывало подозрения. И, если отбросить страх

перед неведомым, предчувствия беды Стависки не ощущал. Как и в тот раз.

Излишне медленно космонавигатор снял шлем. Без прибора ночного видения туман вновь обступил его белесой непроницаемой пеленой. Голова мгновенно намокла. Не делая суетливых движений, Стависки стянул лёгкий скафандр и комбинезон. Чувствуя себя немного глупо, он, секунду повременив, избавился и от плавок. «Словно на нудистском пляже», – фыркнул он про себя. Зато стыдливость непонятно перед кем вытеснила страх. Босыми ступнями по скользкой промозглой земле Стависки тихонько двинулся к воде. «Да какого чёрта!» – махнул он рукой и бросился в мелкое озеро.

Стависки твёрдо знал, что не потерял сознание в привычном смысле. Скорее, он его растерял. Ни на миг не отрываясь от своего «я», Стависки растворился, расплылся, разорвался, разлетелся, разнёсся, растёкся – нет, невозможно описать состояние, в котором он очутился. Как невозможно описать ощущения, испытываемые иногда во сне, когда ты становишься одновременно крошечным, как атом, и колоссальным, как целая планета. Примерно это и случилось со Стависки, когда он с головой окунулся в воды озера. Привычные органы чувств отказали, так как у Стависки их больше не было. Он ощущал окружающее как бы напрямую, оголёнными нервами, хотя и нервов у него также больше не было. Всё окружающее теперь тоже являлось Стависки. Не столько Стависки, как и не только Стависки. Какое-то время он не мог понять, почувствовать всего этого. Если бы сохранилась голова, она бы кружилась. Но и без неё всё, в том числе Стависки, вертелось в броуновском движении. Его будто тошнило, но тошнить было нечем и некому. Он стал всем и одновременно никем. Вечность или мгновение это длилось? А что мы вообще знаем о вечности или мгновении? Есть ли между ними разница? Теперь Стависки её не ощущал. А ощущал, что он – это он, но

уже не один он, а он во множественном числе. И в этом «он» много кого-то ещё, таких же, как он, таких же множественных «он». И всё же он был только он. Сверхон, суперон, надон, гиперон, но он. И Стависки стал чувствовать и думать как множественный «он». Это были его и не его чувства. Невобразимое количество разных чувств, воспринимаемых, как свои. Невобразимое количество разных существ, воспринимаемых, как своя. Стависки был во всех точках планеты и нигде. Он видел всё и всех и одновременно не видел ничего и никого. Ни за что и никогда человеческий мозг не смог бы выдержать подобное. Триллионов нервных клеток не хватило бы вместить такое. И Стависки нашёл Робинсона. В себе. А Стависки нашёлся в Робинсоне. И они были одним целым. И ещё миллиарды миллиардов существ были ими. И были они одним «он». И Стависки не нужно было больше ничего понимать. Всё стало само собой разумеющимся. И не нужно было ничего объяснять. Кому? Себе? Ему? Кому ему? Кому себе? Истина. Всепоглощающая. И всеобъемлющая.

Робинсон и Стависки, мокрые и нагие, выбрались из озера и рухнули на траву, едва различая друг друга в вечном тумане. Рядом лежал скафандр Стависки.

– Господи, Стен! Что это было?

– Я у тебя хотел спросить. Ты же там дольше находился.

Сет перевернулся на спину:

– Сколько меня не было?

– Недели две.

Робинсон немного помолчал.

– Невероятно. Стен, где мы были?

Стависки задумался:

– В каком-то кошмарном сне. Хотя нет, не в кошмарном. Но я не могу вспомнить детали. Ты помнишь?

– Смутно, но ты ведь чувствовал всё то же, что и я. Это я помню. Мы были одним целым. Целым с чем-то... С кем-то.

Боже, это же были чьи-то души. Неужели, мы побывали в чистилище?

Стависски поморщился:

– Давай без этой религиозной чепухи! Мне кажется, это существо, эти существа – какая-то необычная форма жизни. Сет, этот туман живой, и мы только что были его частью! Чёрт, не помню почти ничего. А ведь уверен, что я всё-всё понимал, когда был в тумане...

Робинсон слегка надулся:

– А я верю, что мы прикоснулись к Богу.

– Ладно, ладно, не буду спорить. Мы же ничего не знаем наверняка. Уже. Я... я не могу поверить...

Стависски спрятал лицо в ладони:

– Опять! Я опять ничего не понимаю! Это издевательство, Сет! Космос издевается над нами.

– Нет, Стен, нет! Просто мы, люди, не готовы к познанию того, что выходит за рамки нашей повседневности. Но ведь мы движемся вперёд. Когда-нибудь мы всё поймём. Мы ведь там, в тумане, всё понимали. Но забыли.

Стависски, глубоко подышав, сказал:

– Про души. Мы же ведь там находились целиком. Не только наши сознания или души, как ты говоришь, но и наши тела были растворены в этом тумане. Я это точно знаю потому, что твоё тело не нашли. А, так как в тумане, кроме воды, ничего не обнаружено, значит, это существование на каком-то субатомном уровне, в невообразимой глубине, куда наука ещё не проникла. Поэтому туман и не поддаётся логическому объяснению...

Робинсон покачал головой:

– Господи, а ведь это величайшее открытие! Никто и никогда не был там, откуда мы с тобой только что вернулись. Невероятно! Это самое невообразимое, что случилось со мной когда-либо.

У Сета навернулись слёзы на глаза:

– Мы прикоснулись к благодати... И нас изгнали.

– Погоди, погоди! С чего ты решил, что нас изгнали?

– А почему тогда мы вернулись? Мы же не сами этого захотели, это точно.

Стависски задумался. Похоже, Робинсон прав. Но узнать правду теперь уже невозможно. Как и то, почему только из озера и только без одежды они попали внутрь тумана.

– Сет, а ты бы не хотел туда вернуться?

Робинсон вздрогнул:

– Не знаю... Мне страшно. И я не уверен, что нас пустят обратно... И пока не хочу даже пробовать. Боже, Стен!

Они замолчали, перебарывая произошедшее. Состояние их с натяжкой можно было назвать нормальным. Слабость, головокружение, вата в голове, тремор и полная дезориентация. Не один день потребуется для осмысления этого события. Да что там – не один год.

Стависски с трудом поднялся:

– Я продрог. Пошли к вездеходу, в нём запасные скафандры.

Робинсон спросил, вставая:

– А этот скафандр ты не хочешь одеть?

– Смысл? Он весь вымок. Пойдём.

И они двинулись на ощупь вдоль кромки воды.

– Стен, а что мы доложим командору?

– Правду, что ещё?

– Учёные с ума сойдут. Ох, что тут начнётся!

– Сомневаюсь. Зная Курта, я полагаю, что он свернёт все исследования. Он трусоват и дорожит своей должностью. Командор с удовольствием бы отмахнулся от наших показаний, но нас двое, и сойти с ума одновременно мы не можем. Наверняка без указаний с Земли он больше пальцем не шевельнёт. Переложит всю ответственность на Комиссию. Курт хочет стать адмиралом, и ему эти тайны не очень интересны.

– Ты думаешь?

– Уверен. Как и в своём дисциплинарном взыскании. Слава Богу, что ты жив!

Стависски от избытка чувств потрепал Робинсона по волосам. А туман вокруг них сгущался всё сильнее.

Казачонок

Вова шёл уверенно, не оглядываясь. Витязь тихо ступал рядом. Молодец – понимал, что уходят тайком. Правда, отец всё равно скоро пойдёт следом – атаман должен приехать вот-вот. Вова понимал, что так и будет. Папа заметит пропажу, разозлится и пойдёт за ними.

Мальчик нахмурился и тронул ладонью пояс. Шашка была там. Он знал, что взял её, но навязчивая тревожность заставляла через каждые пять шагов касаться наверхия.

Вова разозлился на себя и ударил по рукояти. Шашка взлетела и больно врезалась ножами в спину. Ударенное место отозвалось пульсирующей болью. Ну, зато теперь точно будет помнить, что не забыл клинок, и сможет, случись чего, защитить Витязя.

Случись чего... Смешно получается. Папа, когда дарил шашку, наверное, не думал, что когда-нибудь она сможет послужить против него.

А не надо было врать. Когда покупали жеребёнка, договаривались, что будет он его, Вовкин. А атаману можно и другую лошадь подарить. Мало их у папы, что ли?

Витязь фыркнул – видно, устал подниматься в горку. Вова провёл по его плечу ладонью и ощутил, как двигаются сильные мышцы, как крепко встают мощные ноги. Рыжая масть, светлая грива, звёздочка во лбу... Да, конь он был отличный. Вова полюбил его сразу, как только увидел: ещё маленьким, дурашливым, с мочальной гривой и смешным розовым носом. Он и сейчас был розовым, только выцвел немного.

Остановились на горке. Дальше был лес, можно было уйти туда... Но до него росло ещё целое поле люцерны, а по нему, все знали, ходить строго-настрога запрещено. Ведь это корм лошадям на следующий год. Потопчешь сейчас – они его совсем не будут есть.

Вот Вова и не пошёл. Опустился в высокие травы, поправил шашку и посмотрел на Витязя. Тот запрокинул голову, рассматривая лиловое небо. На нём загорались первые яркие звёзды. Крохотной точкой вспыхнул Марс.

Хлопок двери Вова услышал сразу. Он слышал и разговоры взрослых, и смех, но они были как будто совсем далеко. Как будто не по-настоящему. А когда хлопнула дверь, Вова понял, что всё это взаправду. И уверенно погладил запястье встревоженного коня.

Отец специально всадил дверь посильнее. Наверное, думал, что сын услышит и прибежит, как миленький. Но Вова не шёл. Тогда отец прокричал:

– Владимир! – рокочуще прозвучало предупреждение. – Вла-ди-мир! – суровее повторил он.

Вова холодно усмехнулся и вздёрнул плечами. Витязь опустил голову и взглянул на мальчика испуганно. Вова медленно кивнул – сидим, сидим.

Отцовский разговор с атаманом пролетел для мальчика в одно мгновение. Ещё в одно – последний, дальний оклик. А потом зашумела трава...

Вова решительно вскочил, загородил собою Витязя. И сразу же почувствовал отцовский взгляд. Родитель ещё стоял на пригорке, но смотрел всё равно свысока.

– Домой, – коротко и строго, голосом, не терпящим возражений, сказал он. И сделал ещё один шаг.

У Вовы задрожала губа и немного руки, но головой он всё-таки мотнул.

– Нет, – ответил он. И ни одна нотка не выдала его страх.

Быстро темнело, но Вова всё-таки увидел, как опустились брови отца. Он тяжело вздохнул и принялся рывками подниматься наверх.

Когда отец оказался совсем рядом, Вова отскочил. Одну руку он прижимал к груди, а другой держал рукоять шашки. Спиной он ощущал горячий живот коня. Отец оценивающе глянул на сына. Только сейчас Вова заметил, что за ремнём

у него была плётка. Вытащил он её деловито и с усмешкой.

– Ты что... решил, что вырос? Шибко умный стал? – он опустил руку, и конец плётки коснулся земли. Вова одним движением достал клинок.

– Я повторю. Взрослый? Или не получал давно? – спросил отец. И вдруг замахнулся. Витязь дёрнулся, а Вова отреагировал незамедлительно – рывком поднял шашку и пригнулся. Сердце его бешено колотилось, голова наливалась тяжёлым туманом, а руки – кровью.

Отец смотрел прямо в глаза сына.

– Ты правда думаешь, что сможешь поднять оружие на отца?

– Витязь. Мой. Конь, – сказал мальчик и почувствовал, как безобразно дрожит его голос. Как визгливо и плохо прозвучало «конь». Но слёзы не пролились, и позы он не сменил.

Стояли долго. Папа сжимал плетку, Вова – шашку. Сумерки прошли, наступила чёрная ночь. Наверное, не освещай отца луна, сын и не заметил бы, как тот медленно опустил руку.

– Объезжать своего зверя будешь сам. А дома – видел? – он мотнул плетью. – Тебя ждёт это. Ты у меня неделю почёсываться будешь.

И он пошёл к дому. А уже подходя, крикнул стоявшему у дверей атаману:

– Витальич! Пойдём, я тебе других покажу... Да что-что, не даёт... Ну вот так, натурально не даёт! Шашку с собой утащил... Да какой там казак! Так... казачонок. Мало я его воспитывал...

Дальше Вова не слушал. Он наконец опустил уставшую руку, выдохнул, небрежно двинул клинок в ножны. Запястьем утёр намокшие глаза. И тут же вздрогнул – что-то толкнуло его под локоть. Это был розовый нос коня.

Внутри меня море

Сложное выдалось время. Пожалуй, самое трудное.

Всё летело кубарем, и я беспомощно пытался удержать равновесие под шквалом непрекращающихся нервотрясений. Ссоры с женой случались всё чаще, сопровождались уничтожением посуды и сжиганием миллионов нервных клеток и как-то незаметно переродились в бурные, показательные-сценические скандалы – доходило до вызова полиции, а однажды и «скорой». Через два месяца взаимного обглаживания до костей мы, наконец, решили расстаться. К обоюдному облегчению.

Квартиру я оставил Катерине – всё равно не мог жить там, где каждый квадратный сантиметр обоев, любая царапина на линолеуме напоминали о волшебной поре, когда никто даже не предполагал, какой истекающей ядовитой слюной химерой спустя восемь лет совместной жизни обернется наш когда-то трепетный и невесомый, легче воздуха, союз. Так из комично перебирающего короткими лапками лупоглазого и лопухого щенка иногда вырастает огромная поджарая злобная псина, ненавидящая всех вокруг.

Я не представлял, как жить после развода. Меня так истрепали переживания, переругивания и юридические заморочки, что эмоций не осталось. Обезвоженный, обесчувственный – полый, как пересохший колодец с шершавыми стенками, которые осыпаются земляными катышками, – таким я был.

Но во все тяжкие не пускался. Названивать по номерам позаимствованных у таксистов «особых» визиток или крутить романы с точно так же недавно расставшимися со своими пассиями разведёнками, жаждущими утешения или, чаще, мелкой мести бывшим – я не хотел ничего такого. Просто существовал, тихо, по инерции.

Однажды чётко понял: дольше так продолжаться не может. Иначе совсем утрачу своё я, стану типичным персонажем

антиутопии – призраком, бредущим на работу и обратно в окружении таких же полупрозрачных созданий с цифрами вместо имён и одинаковым цветом глаз.

Тогда и пришло решение отправиться в путешествие. Загранпаспорта не нашёл, ждать оформления не оставалось сил, поэтому маршрут прокладывал по России. На окраине памяти замерцало огоньком далёкого маяка имя черноморского курорта – любимого с детства. Туда приезжал в пионерлагерь «Золотой берег», плавал в море, смеялся, играл с ребятами. Там радовался жизни, не предполагая, по каким извилистым дорогам и ухабистым горкам она покатит меня после поворота во взрослость.

Долетел до Анапы на «Боинге»: пара часов, и на месте. «Самый солнечный город России», как провозглашали раздражающе-цветастые рекламные проспекты, встретил низкими, похожими на потрёпанные половые тряпки и расползшимися вдоль горизонта тяжёлыми тучами, из которых лениво сочилась прохладная морось. Гостевой дом «Гермес» не вдохновил – для сайта его фотографировали в ясный летний день, и он певуче открывался солнечным лучам, купаясь в них подобно одноимённому греческому богу, а сейчас приуныл и скукожился, будто уменьшился в размере и растерял львиную долю обаяния.

Хозяйка не торопилась демонстрировать хвалёное южное гостеприимство: бурчала о гадкой погоде, распугивающей без того немногочисленных весной курортников, жаловалась на высокие цены на электричество и зажавшиеся власти. Я, впрочем, не вникал. Отдал аванс, получил ключ от номера, закрылся в нём, упал, не раздеваясь, лишь скинув туфли, на кровать и впервые за несколько недель почувствовал, что расслабляюсь. Из тела сочилась, пульсируя, тёмная тяжесть, стекала струйками по покрывалу и капала на дешёвый линолеум: шлёп-шлёп... Нет, это просто начинался дождь. Под ритм вступивших в спарринг с подоконником капель я лихо зарулил в сон, словно в тоннель с обмазанными сажей стенами.

Утром за окном не лило, но густые, сбившиеся в стаи облака не оставляли солнцу шансов. Наскоро позавтракав несъеденным в самолёте куском пластмассового чёрного хлеба и ломтиком сыра, я отправился осматривать окрестности.

Вокруг раскинулся отнюдь не город-сказка из сновидений, сотканный из трепещущих на солнечном ветру лоскутков детских воспоминаний. Другой. Брюшины туч щекотали крыши высотных зданий, витрины подмигивали логотипами мировых брендов, а в небольших магазинах, теснящихся на цокольных этажах, неопрятные мужчины со смуглыми лицами, хронически небритыми подбородками и обязательными вонючими сигаретами в зубах предлагали вино то на «розлив», то на «разлив». В ассортименте присутствовал «армянский сникерс» – в действительности грузинская чурчхела, наборы специй по пятьдесят рублей и посвящением «любимой тёще», а также полуторалитровые баклажки, на которых чёрным маркером выведено то «коньяк», то «чача».

Я понял, что надолго не задержусь.

Вдалеке между многоэтажками мелькнул, как мираж, уголок моря, и я поспешил к нему как к лучшему другу. Вперёд, вперёд! Зашумел прибой, загалдели чайки. Между остроугольных трещин в моей душе просочилась первая светлая эмоция, брызнула освежающе прохладным соком и оросила бескрайнюю, кажущуюся безнадежно бесплодной пустошь.

Спустя три минуты я стоял у парапета набережной, любясь им – бессмертным, ни от кого не зависящим, хмурым. Яхтенная марина внизу наводила на раздумья об объёмах кошельков владельцев плавсредств, по правую руку скучал в ожидании толп июньских отдыхающих песчаный пляж, а слева белело компактное здание морпорта, у пирса которого пришвартовалось судно неожиданной весёленькой жёлтой расцветки.

«Сегодня первый рейс из Анапы в Крым. Приглашаем, – ветер донёс искажённый громкоговорителем женский голос. – Отправление до Феодосии через двадцать минут. Спешите! Билеты можно приобрести в кассах морского вокзала».

Я решил, что поеду, сразу. Не задумываясь. Чаще всего нашей жизнью управляют логика и рассудок, но кардинально изменить её в состоянии лишь импульс. Внезапное, сиюминутное решение, взбрык, вспышка – непредсказуемость бывает прекрасной. . .

Моя влюблённость в Катю-Катеньку-Катерину вызревала постепенно, трансформируясь из нежного обожания букетно-конфетного периода в полновесную доброкачественную любовь. Побывав на пике умопомрачительных русских горок, она с каждым годом тускнела и теряла глубину оттенков – так постепенно выцветает на стене картина, не защищённая музейным стеклом. Наши отношения развивались по традиционному сценарию: встречи, ухаживания, предложение руки и сердца, медовый месяц, бурный секс и – бытовуха, первая размолвка, расцарапанное лицо.

Я всегда стремился упорядочить жизнь, схематизировать её, упростить, сгладить острые углы. И только недавно понял, что ошибался, пытаюсь подогнать судьбу под обкатанную другими парадигму, не оставляя даже шанса на импровизацию, шалость, эксперимент и риск.

Когда менять мировоззрение, если не сейчас, постановил я и, едва услышав финальное «в кассах морского вокзала», побежал по набережной, ввергая в недоумение полусонных от гнетущей погоды утренних прохожих, ползущих по тротуарной плитке подобно улиткам – разве что не оставляющих липкий след.

– Билеты до Феодосии есть? – запыхавшись, спросил у кассира – недовольной возрастной женщины в голубой униформе.

– А вы, что, наблюдаете здесь ажиотаж? – процедила она недовольно.

– Тогда дайте мне один, пожалуйста, – я решил не отвечать на хамство и сохранял спокойствие, проклиная отечественный сервис исключительно про себя.

Вскоре я шёл по пирсу, вдыхая напитанный влагой воздух и ощущая, как морская вода, проникая сквозь поры в глубину тела, продолжает врачевать мою растрёпанную душу.

Лимонное судно с надписью «Сочи-2» (его сняли с одного из маршрутов бывшей олимпийской столицы, чтобы поддержать недавнее возвращение Крыма в состав России и заодно апробировать новый туристический маршрут) колыхалось на волнах, и первые шаги на борту получились пружинисто-лёгкими, почти танцевальными. Я вошёл в салон, ожидая увидеть переполненный зал и почти не надеясь отыскать местечко поединённое.

Однако внутри оказалось всего пять человек: влюблённая пара (возможно, молодожёны), воркующая у иллюминатора, насуспенный лысый господин лет пятидесяти в крупных старомодных очках и толстенной книгой в руках (если не обманывает зрение, это был «Моби Дик»), а также приятная молодая женщина и сидящий рядом с ней шуплый паренёк. В ногах у него свернулась объёмная тёмная сумка с множеством пухлых кармашков на молниях – в таких носят аппаратуру телевизионщики. Они болтали, и девушка время от времени тихо и заразительно смеялась – так и я, устроившись у окошка на одном из пустующих рядов, не сдержал улыбки.

Шли минуты, пассажиры не прибавлялись. Погода всех перепугала или не слишком демократичная цена поездки, не знаю, но нашу скромную компанию так никто и не пополнил. Выждав минут пятнадцать свыше объявленного, «Сочи-2» отчалил и, стремительно набирая скорость, начал отдаляться от берега.

Ровно рокотал двигатель «Сифлайта» (приятный девичий голос в динамике сообщил, что модификация звучит именно так – *seafight*), бурлили пенными завихрениями волны, а я прислонился лицом к прохладному стеклу и расслабился в монотонно-убаюкивающем движении. Выключенный телефон не вибрировал и не нервировал рингтоном – только море, корабль и едва проникающие сквозь белый шум голоса попутчиков.

Часа два я продрых – выключился, как гаджет с севшей батареей. Болезненное пробуждение напомнило состояние,

когда ныряешь глубоко-глубоко, насколько хватило смелости и крепости лёгких, достигаешь предела и скорее плывёшь рывками вверх глотнуть воздуха, а водная толща вокруг всё не кончается, будто бы становится плотней и агрессивней, и ты начинаешь паниковать, отчего перехватывает дыхание до пронзительной боли в груди. Так и у меня после случайного дневного сна – словно из тела извлекли все мускулы и набили под кожу стекловату.

Чтобы прийти в себя, решил выйти на палубу. Там стояла она – девушка-корреспондент. Ветер полоскал её волосы цвета спелой пшеницы, лёгкое платье – пожалуй, даже слишком лёгкое для промозглого дня – облегалo тело, подчёркивая все выгодные нюансы практически модельной фигуры. Грудь, разве что, была великовата по меркам нынешних запрудивших подиумы анорексичек, однако я всегда тяготел к более крупным формам.

Увидев меня, журналистка заулыбалась. Приветливо и тепло, словно мы давно и близко знакомы.

– А вы когда-нибудь бывали в Крыму? – спросила она.

У большинства тэвэшных звёзд – неважно, на каких каналах, федеральных или региональных, они работают – приятные голоса. Требование кастинга и эстетика профессии в целом. Слушаешь диктора, а ощущение, словно проводишь подушечками пальцев по бархатной бумаге. У моей попутчицы голос был именно такой – располагающий, с искристой смешинкой, нежный. Хочется разговаривать долго, купаясь в нём. Но о чём говорить?

– Первый раз, – задумавшись, я забылся и вспомнил о вопросе, лишь когда заметил нотку волнения в её глазах цвета летнего моря. – Спонтанно как-то решил. Помните, как в старой песне «Несчастливого случая»: вышел из дома, пришёл на вокзал....

– Сел и поехал! Хорошая песня, люблю её, – рассмеялась она. – И группа замечательная, умная. А можно мы с вами небольшое интервью запишем как у первого пассажира исто-

рического рейса? Впечатления, настроение, что больше всего хотите увидеть, где побывать?

– Ой, нет. Ни в коем случае! Я не фотогеничный. И камеры ко всему прочему боюсь. Как её увижу, сразу начинаю бекать и мекать, – засопротивлялся я. – Там в салоне пара молодая, пусть ребята лучше в кадре засветятся. Им приятней будет.

– Может, передумаете? Не обязательно же с первого дубля записывать. Хотите, порепетируем?

– Вы меня простите, ради Бога, но я, честное слово, не в форме. У меня в жизни, как сейчас модно говорить, что-то пошло не так. Не до съёмки, поверьте.

– Верю, почему же, – грустно сказала она. – Такое бывает. Сплошь и рядом. Иногда круглосуточно. Вы меня простите за назойливость. Пойду и правда той сладкой парочке предложу.

Она помахала ладошкой и спустилась по лестнице, а я, оставшись в компании бодрящего ветра, почему-то заволновался, взбудоражился – засуетился по палубе, пытаюсь взять себя в руки.

В её «почему же» явственно слышалась боль – тонально созвучная моей, родная. Будто мы черпали её из одной посуды разными ложками и оба наелись сполна. Тоже несчастная любовь? Потеря близкого человека? Расставание? Кто кого бросил? Растревоженные мысли суетились и жужжали, как осы, вырвавшиеся из развороченного хулиганами гнезда.

Всё же я возвращался к жизни – медленно, но неотступно. Даже радовался тревоге, потому что чувствовал! Не оставался безучастным наблюдателем, ничем не отличающимся от прикрепленной к фонарному столбу видеокамере, которая безразлично фиксирует зону охвата своего окуляра, будь то пустынная улица, сцена ночной страсти в романтическом полумраке или массовая драка с поножовщиной. Я оживал!

Послонулся по палубе, неспособный надыхаться и насмотреться морем, пьяный от безалкогольного ионизированного коктейля. И тут зарядил дождь – плотный, косой, прохладный. Пришлось ретироваться.

В салоне оператор выставил неуклюжую чёрную треногу, журналистка весело переговаривалась с ослеплённой возможностью засветиться в кадре парочкой, очкастый господин намертво приклеился к книге. Путь продолжался...

Незадолго до прибытия моя мимолётная собеседница затормошила провалившегося в сон, похрапывающего в кресле компаньона: «Сашка, вставай! Давай стендап запишем. На фоне крымских берегов!»

Не проявив энтузиазма – операторы, по моему наблюдению, сплошь и рядом флегматики и интроверты, – парень вновь расчехлил технику, ворча, что дождь, сырость, он не взял защиту и вообще, шеф, всё пропало. В итоге камеру обернули пакетом из «Магнита», оставив объектив снаружи, и пошли наверх.

Там тоже не заладилось: дождь не ослабел, а ветер, напротив, усилился. Недовольный человеческим вторжением в свои владения, он вывернул зонт в руках девушки, раздражённо сорвал пакет с аппаратуры и с ног до головы обдал ребят брызгами, вынудив капитулировать и бесславно вернуться в салон.

Платье журналистки – и без того облегающее – намокло, и мне даже стало неловко от нечаянно выставленной напоказ и сражающей наповал почти обнажённой красоты, сравнимой с плавными изгибами античной статуи. Затянувшийся целибат, видимо, не слишком устраивал организм, который среагировал так бурно, что я забился поближе к иллюминатору и подальше от чужих глаз.

«Сифлайт» пришвартовался. На берегу нашу скромную делегацию встречали местные чиновники в одинаковых светлых рубашках и чёрных брюках, а с ними – крымские СМИ. Фотовспышки, камеры, суета, реплики, вопросы. Я юркнул вбок, проскочил сквозь здание морпорта (меня обогнал будто убегающий от преследования лысый мужик – очевидно, тоже недолголюбивающий прессу) и очутился на набережной, испытывая одновременно облегчение, что так технично скрылся, и сожаление, что, скорее всего, больше не увижу свою очаровательную попутчицу. Её образ то и дело мерцал в мыслях

двадцать пятым кадром: мимолётно, неуловимо, волнующе.

Поинтересовавшись у прохожих главными достопримечательностями Феодосии, отправился, не раздумывая, в картинную галерею имени Айвазовского – благо, как пояснили, она в двух шагах от порта. От сменившего гнев на милость, затихающего дождя укрывался зонтом, как мог боролся с начальным прибрежным ветром и всё равно промочил ботинки в лужах.

Респектабельный старый дом со стенами песочного оттенка, классический памятник маринисту на входе. Типичный музей в здании двухвековой давности: отреставрированном, но ещё хранящем шарм той прекрасной и далёкой эпохи, когда рождались шедевры живописи и литературы на все времена. Я купил билет у миловидной пенсионерки на кассе и...

Всё, чем подпитывалась моя вылезающая из тесного кокона душа, все бесконечные попытки вынырнуть из мутного потока, в котором я барахтался последние дни, месяцы или годы, – всё смешалось. И равнодушие (вот что в смертные грехи надо записывать!) отступило. Словно я сотни лет бродил неприкаянным полумертвецом по выщербленному морскому дну в громоздких, тяжелых, больно стискивающих и до мяса царапающих тело проржавевших доспехах: свыкся с этой обузой, сросся с ней плотью. А потом – раз! – скрепляющие кожаные ремни разорвались, разъеденные солью; древние латы обрушились, как застывшая поверх раны корка, и я, преодолев сопротивление тонн воды, пронзил их счастливым дельфином, выплыл – как заново родился.

В путешествии меня всюду сопровождала вода. Я подумал об этом, когда с потоками дождя, встречавшего мой приезд в Анапу, и бурлением моря, плоть которого рассекал «Сифлайт» по пути в Крым, слились эти полотна, где безраздельно властвовала влага всех цветов и окрасов, перемешивалась и вздымалась агрессивными штормовыми гребнями и отражала умиротворённой вечерней медовой гладью нежное закатное солнце.

Плыли юркие рыболовецкие лодочки и статные парусные корабли, разворачивались трагедии и суетилась бессонным муравейником мирная портовая жизнь. Море смеялось, ярилось, играло, уничтожало, ласкало, созидало – древняя, неуправляемая, своенравная стихия. Люди уходили к праотцам поколение за поколением, на месте одного города, сожжённого и стёртого до последнего камня в фундаменте, выстраивался другой. Кипели баталии, погружались на дно напоровшиеся на мины линкоры и сбитые самолёты, развалившиеся от удара об воду; на окрашенный в алое песок и гальку выбрасывало тысячи трупов, а оно оставалось неизменно прекрасным в любой своей ипостаси...

Всё это пронеслось в мыслях хороводом образов – и что запечатлел редчайший мастер, и что я додумал, глядя на его полотна. Как гениально он смог передать вес воды, саму её структуру, поймать блеск преломлённого луча и раствориться в пене буруна! Как он это сделал, как?!

Неожиданно для самого себя я заплакал. Да так, словно хоронил любимого котейку, сбитого на трассе машиной. Слёзы текли и текли – жидкость к жидкости, вода к воде, печаль к печали, радость к радости.

– Вам плохо? Что с вами?

Знакомый голос. Я обернулся. Там стояла журналистка и встревоженно смотрела на взрослого мужика с мокрым лицом.

– Вы?! – сказали мы одновременно. И я рассмеялся, вытирая щёки ладонью.

– Почему вы плачете? У вас всё нормально?

– Более чем. Нет! Точнее сказать, нормальнее не бывает!

– Уверены?

– Конечно! Спасибо вам за участие. И вообще – спасибо! Я и так не блещу красноречием, а сейчас что-то совсем ступешивался... Давайте, может, вместе по галерее походим?

– С удовольствием.

Она встала рядом. Я слышал её дыхание, видел капли дождя на плечах, влажные густые волосы, поднимающуюся при вдохе

грудь. Невозможно оторвать глаз, но и пялиться неприлично.

Перед нами опрокидывал зрителя навзничь богатством красок холст «Башня на скале у Босфора»: массивные и угловатые чёрные валуны, которые атакуют волны; борющийся с натиском шторма фрегат у кромки береговой линии и башня старинной крепости в типичном генуэзском стиле: со стенами, сложенными из крупных камней, прямоугольными зубчиками и бойницами. Примерно так, видел я в проспекте, реконструкторы изображали и турецкую крепость Анапа. На горизонте – то ли горы, то ли гряды облаков, на расстоянии не различишь. Зашкаливающая фотореалистичность! И поражающий воображение спектр оттенков воды: от нежно-изумрудного на фрагменте, где лучи заходящего солнца просвечивают сквозь вздыбленную волну, до малахитового, похожего на шкуру динозавра, и бутылочного (в детстве, обнаружив на берегу обточенную водой стекляшку, я наивно считал её драгоценным камнем и хвастался бабушке, что нашёл алмаз!).

В картине, как и во многих других, развешанных вокруг изысканным пантеоном, хотелось остаться. Глаза не могли насытиться маринистическим великолепием, и казалось, что время замедлилось, а затем вовсе застыло, зачарованное кистью мастера.

Я перевёл взгляд на девушку, которая вдруг представилась мне самым важным, краеугольным элементом стихийного анапско-крымского паломничества. Она тоже обернулась, и я убедился: она и есть – моё море. В её глазах вихрились непокорные волны, там поселилась вечность.

До сих пор не уверен, но, кажется, периферийным зрением я заметил, как оживают окружающие нас пейзажи: сухой кондиционированный воздух в экспозиционном зале наполняет свежее дуновение бриза, трепещут наполненные ветром паруса, скрипят мачты, и море поёт гимн свободе.

– Наташ, нам пора! «Сифлайт» через двадцать минут отчаливает, а нам на перекус ещё купить чего-нибудь надо!

Возникший из ниоткуда оператор нарушил магию. Моя попутчица изменилась – так из воздушного шарика через невидимую щелочку просачивается гелий.

– Нам и правда пора, – почти извинилась она. – В вечерний выпуск, если вернёмся быстро, сюжет дадим. Редактор уже звонила. Хорошего вам отдыха в Крыму!

И, не оборачиваясь, зацокала каблучками по паркету за нетерпеливым худосочным коллегой, на выход из галереи и моей жизни, на встречу с портом, «Сочи-2» и Анапой.

Я хотел броситься следом, догнать, упасть у её ног – да хоть в лужу, в грязь! – и умолять остаться в этом прибрежном городке, где дышится так легко. Сходить в музей Грина, прогуляться по Карадагскому заповеднику и сравнить, насколько крепость Кафа похожа на ту, что мы видели на картине. Я был готов упрашивать, клясться и плакать, раз уж вновь обрёл эту способность. Пленять обаянием и завоёвывать руку и сердце. Стискивать в объятьях до хруста, до спазмов в горле: никому, никогда, слышишь?! – никому и никогда тебя не отдам, ни за что, слышишь?!

Конечно, я не сдвинулся с места.

Не спеша обошёл выставочный зал, потом соседний корпус. Прогулялся по Набережной, по музею Грина, увидел древнюю крепость. Отыскал сносный по цене гостевой дом и решил, что любоваться заставшим вулканом в Карадагский заповедник отправлюсь завтра, а пока... Пока я хотел лишь спать, спать, спать.

Поздним вечером погрузился в сон, словно сиганул в океан с высокого пирса. Нырнул поглубже и затаился на дне, в привычной ипостаси заросшего ракушками и клубками водорослей ископаемого краба.

Феодосией моё спонтанное странствие не завершилось.

Севастополь, Ливадия, Алупка, Яхта – я пропускал сквозь себя их живописные пейзажи, впитывал детали и достопри-

мечательности подобно губке, пытаюсь заполнить пустоту, оставленную Катериной, а теперь ещё и Наташей (я уже знал, как её зовут) в прохудившейся душе. Однако впечатления проваливались в ненасытную бездну, оставаясь в памяти набором стандартных туристических открыток из тех, что попроще. Везёшь их россыпью, купленные на развалах за копейки, в дар родне и друзьям вместе с магнитиками на холодильник – свидетельства твоего путешествия, которые, по большому счёту, никому не нужны.

Через четыре дня я уехал из Крыма. Ещё через три вышел на работу. Спустя пару месяцев закрутил служебный роман. Что-то во мне изменилось во время поездки, и это тонким женским чутьём уловила Таня – тоже специалист по продажам, на год старше меня, в разводе. Я считал, что кажусь ей, как и большинству сосредоточенных на своих проблемах коллег, пустым местом, аналогом офисной техники вроде принтера или ксерокса, но тут она угощает меня кофе, в обед мы идём в столовую, смеёмся, я шучу – оказывается, не разучился.

На следующий день мы ужинали у меня дома. Через полтора месяца поженились.

Внутри Тани – свой космос, по-своему комфортный. Там стоят на стеллажах пухлые раритетные книги с пожелтевшими страницами, а по вечерам в домашнем кинотеатре крутят артхаус. Там оставляют едва заметный след на стенках бокалов из богемского стекла чилийские красные вина и шкварчит на сковороде ароматный бифштекс из индейки. Там пахнет индийскими специями и французским парфюмом. Мне там уютно.

А внутри меня – море.

Чаще спокойное, умиротворённо-штилевое.

Изредка оно штормит, и, когда буря набирает полную силу, я ухожу из дома, объясняя: надо срочно починить ноутбук хорошему другу. Возвращаюсь поздно, когда Таня спит. Не хочу, чтобы её случайно изранил бушующий поток. Между уходом и возвращением я слоняюсь по городу и слушаю, как рокочут

тяжёлые волны, расшвыривающие многотонные осклизлые валуны, словно гальку.

Однажды осенью, когда штормило особенно яростно, я добрёл до центрального парка, присел на лавочку и начал сёрфить в смартфоне. Скользнул на сайт телекомпании «Анапа-Регион» и наткнулся в новостной ленте на портрет Наташи: те же спадающие по плечам волосы, тёплая улыбка и зелёные – морские – глаза. Она смотрела на меня в точности как там, в феодосийской галерее. Буквы заголовка над фото никак не складывались в слова, рассыпались, как элементы кода в «Матрице», падали, огибая изображение, и исчезали.

Я с трудом заставил себя прочитать «В автомобильной аварии погибла», «коллеги скорбят», «невосполнимая утрата», «соболезнования родным и близким»...

И море внутри меня замерло.

Застыли в стоп-кадре гигантские волны, затих лютующий северный бора, оружие чайки зависли в небе карандашными силуэтами. Минуты сокрушительной тишины. Слышно лишь, как стучит сердце – медленно, слишком медленно...

Небо трескается, и из расползающихся кривых расщелин на оцепеневший пейзаж падает снег – похожими на крошечных парашютистов хлопьями, очень холодными.

– Снег идёт из дырки в небесах, все волчата закрывают свои серые глаза, – поёт «Несчастный случай» из стоящих вдоль берега динамиков. Они закреплены на покосившихся деревянных столбах, между которыми едва слышно звенят электричеством прогнувшиеся провода. Вскоре метель укрывает моё внутреннее море плотным покрывалом. Всё вокруг белым-бело, всё снегом замело...

Я закрываю страничку сайта, смотрю на часы – близится полночь – и собираюсь домой. И хотя на дворе ласковый тёплый сентябрь, под моими ногами хрустит снег.

Возвращение

1

Горловка – город моего детства. Место, где родительский дом, тёплые воспоминания и первые мечты слились воедино. А после того, как я вынужденно покинула Украину в 2014 году, Горловка стала городом-наваждением. Там остались мои родные, а вместе с ними и моё сердце.

Спустя три года, осенью 2017-го я осуществила заветное желание, купила билет на рейс «Анапа – Донецк» и вечером пятого ноября отправилась в путь. К родителям. К маме...

Первый город новой республики, который мы проехали, – Харцызск. Потом миновали Макеевку. В это раннее воскресное утро она была почти безлюдна. Я вглядывалась в проплывающие мимо витрины магазинов, баннеры, патриотические постеры с обаятельно улыбавшимся главой Донецкой республики Захарченко и искала... Сама не знаю, что.

Макеевка плавно переросла в Донецк, проспект одного города сменился закоулками другого, петляющими, скверными дорогами. Так я поняла, что начался «иной мир», полувоенный, полуосаждённый. Автобус старательно объезжал опасные места, оставляя так называемую линию фронта в стороне.

Донецк, несмотря ни на что, жив. Город чист, уютен, как и положено всякой столице государства, пусть маленького и непризнанного. Я, помнившая его шумным, монументальным, обратила внимание, что машин почти нет, вывески на фасадах домов поредели, да и в самом воздухе чувствовалась некая настроенная неопределённость.

Южный автовокзал тоже изменился. Он будто уменьшился в размерах, хотя занимал ту же площадь. Я купила билет на ближайший автобус до Горловки, сдала сумку в камеру хранения, немного прогулялась по территории и стала ждать маршрутку.

Когда к платформе подъехал дребезжащий «пазик», я была ошеломлена. Вот каким оказался ещё один признак военного времени Донбасса. Зачем пускать хорошие машины туда, где есть шанс быть обстрелянным, да и дороги за последние несколько лет так же пришли в упадок.

Автобус заполнился людьми, такими же сумрачными (как верно передаёт это слово душевное состояние большинства из них), как и окружающая действительность, и мы тронулись в путь. Перед отправлением в салон зашла женщина. Наверное, её история была не в диковинку: дом сгорел после одного из обстрелов, ни денег к существованию, ни работы нет, а на руках годовалый ребёнок. Чтобы разжалобить нас, она оттянула ворот свитера, демонстрируя рубец от осколка.

Дорогу из Донецка в Горловку я не заметила. По большей части я была погружена в раздумья о предстоящей встрече с родителями, переживала мысленно первые впечатления от Донецка. Сожаление и тоска по утраченному сжимали сердце. Где же ты, город моего прошлого, и куда я еду? Что ждёт меня в том новом, неведомом мне месте?

2

Горловка встретила моросью. Мы быстро миновали Пантелеймоновку, небольшое селение на окраине, и оказались в черте города.

Автостанция была пустынна. Несколько автобусов, не более десятка людей, сырой влажный воздух и тишина – вот чем меня встретил любимый город. Я не успела выйти из автобуса, поставить под навес сумку с вещами, как ко мне подбежал папа. Мы суетливо и радостно обнимались, задавали друг другу глупые, но такие важные вопросы, а потом направились к остановке. Перед тем, как оказаться дома, я должна была проехать ещё в двух автобусах.

Мы миновали памятник-танк и спрятались под пластиковый навес остановки ждать своего маршрута. «Первая марка», как

называет отец, подъехала быстро. Это был давно не мытый автобус ЛаЗ, дребезжащий всеми сочленениями, такой же пыльный внутри, как и грязный снаружи.

Содержать машины чистыми в Горловке проблемно из-за вездесущей угольной пыли. Пусть в это непростое время шахты закрыты, но чёрный осадок на всём – это неизбежность промышленного города. В холодное время года даже воздух горчит, так всё пропитано дымом топящихся печей. Дальше наш путь лежал в Никитовку.

Я с интересом разглядывала в окно знакомые с детства места, отмечала изменения и необычайную пугливую тишину, всё так же сопровождавшую нас. В один момент папа тронул меня за рукав. Мы как раз объезжали разрушенный мост. Огромные бетонные плиты рухнули перевёрнутой буквой «Л» на железнодорожные пути, соединяющие станцию Никитовка со станцией Трудовая. Это произошло в июле 2014 года, почти сразу после моего отъезда. Несколько лет жители Никитовки и близлежащих посёлков не имели иного сообщения с городом, кроме узкой ленты тротуара, соединявшей обе части моста.

В июне 2015 года после капитального ремонта открыли Старый мост, и наш ЛаЗ бодро двигался вперёд, почти не притормаживая на поворотах. Мы проехали таможенный пост – нововведение военного времени – и через пару минут были в Никитовке.

Привокзальная площадь, где мы с папой высадились, носила яркие следы событий, изменивших историю и региона, и страны. Не было крытого мясного рынка. Пустовала большая часть уличных ролетов.

До войны Никитовский рынок, как вещевой, так и продовольственный, был весьма популярен среди населения. А теперь? Малая часть былого. Да и та не скрывает ужасающей правды: кто бы ни делил власть, страдают в первую очередь простые люди.

Задерживаться тут мы не стали, дождалась 81-й рейс, который соединял Никитовку с Гольмой, и поехали дальше. Оставалось совсем чуть-чуть. Родительский дом находится

рядом с Гольмовской трассой, почти посередине между этими двумя посёлками, на маленькой улочке, спрятанный за старой разросшейся елью и шелковицей.

Ещё немного, всего пара минут, и я взойду на крыльцо, толкну деревянную дверь веранды и скажу: «Здравствуй, мама...»

Воспоминания, о которых я и не подозревала, хлынули потоком. Будто цветные картинки или кадры фильма мелькали перед моим мысленным взором. Я снова проживала всё, что происходило со мной когда-то. Вот мы с двоюродным братом забрались на крышу сарая, где хранился уголь, и обкидали соседскую собаку яблоками. Мы представляли себя рыцарями, защитниками добра, а бедное животное, прикованное цепью к будке и злобно облаивающее нас из своего укрытия, конечно же, было драконом, вредным и очень злым.

Я так задумалась, что не заметила, как преодолела те несколько десятков метров, что отделяли меня от калитки, повернула ручку и зашла во двор. В такие моменты принято говорить, что весь мир замирает. Это не так. Весь мир стал иным. Неважно, что там, за забором, где грохочут выстрелы, и насколько тяжёлыми оказались первые впечатления. Я снова стала той маленькой девочкой с двумя косичками, вечно расплывающимся в улыбке ртом, беззаботной и лёгкой.

На крыльцо выскочила мама.

– Наконец-то. Я уже все глаза в окно высмотрела. Нет и нет. Переживать начала.

Мы обнялись, потом расплакались, как и положено впечатлительным женским существам, прошли в дом. Внутри пахло так, как и три года назад: сдобой, теплом и уютом.

3

За неделю, что я провела у родителей, мне часто приходилось выезжать в центр города. По утрам я отправлялась на Гольмовский поворот, место, где Артёмовская трасса раздваивается и уходит одной частью на северо-восток, к Гольме, а другой и дальше стремится в город. На этом перекрёстке рас-

положен таможенный пункт, и суровые мужчины в камуфляже и с оружием в руках досматривают почти каждое авто, что проезжает мимо. Здесь же автобусная остановка и называется она соответствующе: «Поворот». До войны она находилась в другом месте, ближе к мосту, но теперь трасса перекрыта, мост взорван, все машины идут в объезд. Навес и скамейки сиротеют в стороне, а люди не менее сиротливо ожидают транспорт на утрамбованном участке земли, под открытым небом.

До Поворота можно доехать на автобусе. Проезд в маршрутках составляет восемь рублей, оттого в Горловке мелочь на вес золота. А ну, насобирай сдачи, если кто протянет пятьдесят или, не дай бог, сто рублей. Я же предпочитала идти пешком. Так же, как и в детстве.

Этой дорогой я много лет ходила в школу, поликлинику, библиотеку. Проходила мимо «Молотка» – огромной кирки, единственного, вместе с полуразрушенным офисом, напоминания о Горловской геологоразведочной экспедиции, знаменитой когда-то на весь Советский Союз.

Улица возле Молотка засажена каштанами. В первый день я обратила внимание на их обгорелый вид. Спросила у отца. Он ответил коротко и лаконично: «Грады», поделился подробностями. Я была шокирована.

Как всякий человек, слышавший отголоски страшных событий по новостям и со слов близких, я воспринимала его рассказ отстранённо и одновременно с состраданием. Хотя и эти слова не опишут того, что испытывает человек, осознающий, что на этой улице стояли тёмные грозные машины, выпускающая на волю смерть. Не в далёкой Сирии, которая тоже на слуху. Не за океаном, где всем и каждому позволено иметь оружие, а значит и право его применять. Здесь. Где я девчонкой бегала на первые свидания, мимо белых свечек цветущих каштанов.

Выше ГРЭ по левую сторону от дороги голубеют ворота мебельной фабрики. Она кажется заброшенной, но несколько цехов работают. Работает и «Альянс», небольшой магазин напротив фабрики. За ним, если повернуть налево, – школа. Я так и не решилась зайти в неё. Страх разрушить ещё одно

прекрасное воспоминание детства не позволил мне это сделать. Каждый день, проходя мимо «Альянса» и поворота к школе, говорила себе, что на обратном пути или завтра... а потом наступил день отъезда, а моё «завтра» так и не сбылось.

От магазина я поднималась вверх, по разбитому тротуару и пустырю по левую сторону, проходила заброшенный блиндаж, блокпост, и вот я уже на Повороте. Некогда оживлённая дорога почти пустынна. Её запросто можно перейти в любой момент, не опасаясь за жизнь.

Военные на блокпосте на пешеходов почти не обращают внимание. Но это ленивое безразличие обманчиво. Поверьте, они быстро среагируют на любую попытку достать телефон и сфотографировать их.

В город я добиралась либо четырнадцатым, либо первым маршрутом. Доезжала до центрального рынка, выходила, а там уже полагалась только на свои ноги. Гуляла по улицам, заходила то в один, то в другой магазин, приглядывалась к людям, прислушивалась к их разговорам. Мне очень хотелось понять, что же случилось с моим любимым городом, каким он стал без меня в это нелёгкое для него время. Он будто шагнул назад, в пропасть неустроенных девяностых, когда заброшенность и ненужность виделись во всём. От этого становилось не по себе, и каждый раз, замечая неприглядные симптомы большого войной города, я мысленно взывала: где же ты, город моей памяти?

В один из дней мы с мамой зашли в небольшой магазин бижутерии. Здесь было всё: от простых резинок до ярких, украшенных самоцветами гребней. Мы рассматривали товар, показывали друг другу, что понравилось, вели себя, как и положено двум любящим красивые вещи женщинам. Продавец, мужчина средних лет, смотрел на нас угрюмо и нетерпеливо. Ждал, когда же мы хоть что-то купим. В один момент, услышав наш негромкий смех, мужчина взорвался гневной тирадой о нашем бессердечии, жадности и излишней весёлости в городе, где жизнь и без того тяжела. Я опешила, но моя мудрая мама ответила так:

– Никто не хотел этой войны. Мы не звали её. Мы просто хотели жить спокойно и быть уверенными в завтрашнем дне. Но я не собираюсь теперь убиваться и рыдать над осколками моего разбитого настоящего. И то, что я могу ещё шутить над собой и миром в это непростое время, значит, что я ещё жива.

Когда в город я выбиралась одна, мои прогулки можно было сравнить с паломничеством. В такие моменты я растворялась в окружающем, становилась частью улиц, серых домов, облезших вывесок, прохожих. Становилась частью тревожной тишины, которая в любой миг может смениться гулом и канонадой. Я побывала в сквере возле мемориала погибшим жителям – гранитное разбитое сердце, плачущий ангел и четыре плиты с именами погибших. За этим скрываются слезы родных, сломанные судьбы и безмолвный, но от этого не менее яростный вопрос: «За что?» Об этом спрашивает и мадонна с младенцем, изображённая на стене Горловского техникума ДонНУ. Её скорбный лик напоминает о том, что забывать нельзя: в играх кукловодов, делящих наш мир, страдают прежде всего беззащитные и невинные.

А потом наступил день отъезда. Неделя пролетела быстро и незаметно, напитав меня новыми впечатлениями, знанием и грустью. В сердце поселились разрушенные дома, остовы сгоревших машин, пустынные улицы. Я смотрела в окно автобуса на проносившиеся мимо поля, а думала о другом. О печальных глазах моих родных, о ночах, проведённых ими у дальней глухой стены, подальше от окон, чтобы в минуты интенсивных обстрелов их не задело осколками. Думала о людях, живущих в Горловке и покинувших её, о событиях, изменивших не только историю, но и нас самих. О людях, прятавшихся в подвалах, их собаках и кошках, жмущихся к хозяевам. О детях, поневоле повзрослевших за одну зиму или год. Обо всех, кому не посчастливилось на собственном опыте узнать, что такое война.

Монетка

«Когда так похолодать-то успело? Вчера только бегала в туфлях на голую ногу, а сегодня уже и подстреленные джинсы не одену – шиколоткам холодно», – пока я шла по улице к магазину, в голове только и было мыслей, что о холоде, пронизывающем ветре и о том, что стоило одеть джемпер потеплее под куртку. В правом кармане лежал медный червонец, полученный на сдачу с какой-то недавней покупки. Я перебирала его пальцами – не просто же так ему лежать. Подходя к магазину, расположенному на первом этаже высотки, увидела на его ступенях пожилую женщину в старом плаще советских времён и тонком платке. Она стояла с протянутой рукой, и ветер, беснующийся между домами, обдувал женщину со всех сторон.

С мыслью: «Надо будет обязательно дать денежку», – я зашла за покупками, не собираясь брать ничего особенного. С трудом удалось отыскать в ящике хорошие болгарские перцы, большинство из которых уже начали портиться от длительного лежания в тепле. Оставшиеся перцы работники соберут и просто выкинут, не отдав нуждающимся. Огурцы так же придиричиво выбраны мной и ещё пара овощей. Оплатив свой «урожай», я открыла кошелёк, чтобы набрать монеток для той женщины: «Блин, одни рубли. Ну, хоть червонец в кармане есть», – копалась я, но отыскала десятку и ещё несколько крупных по размеру монет, даже не разглядывая их номинал, предполагая, что он должен быть выше двух рублей. Передо мной из магазина вышел парень и положил деньги женщине в руку, она, как водится, ему что-то сказала, неразборчивое для меня. Подошла и я. В её протянутой руке лежал целлофановый пакетик с несколькими монетками, я тоже положила свои.

Неловко улыбаясь, она произнесла тихим голосом:

– Спасибо тебе. Храни тебя Господь, деточка. Счастья тебе.

Так искренне мне, наверное, почти никогда ничего не желали. Удивительно. Для меня это всё было странно и удивительно. Внутри появилось ощущение благодарности. Как будто это не я что-то сделала, а что-то сделали для меня. Что-то доброе и от сердца.

– Спасибо, – ответила я, поспешив в сторону остановки, чтобы быстрее сесть в автобус.

По дороге я засунула руку в карман и нащупала... червонец. «Сколько же тогда я положила? Этого, наверное, на буханку хлеба даже не хватит», – ощущение благодати сменилось неловкостью и стыдом. Я не дала много, но дала даже меньше, чем хотела. Меньше, чем могла. Но добрых слов, сказанной той женщиной, меньше не стало. Двадцать, тридцать, сто рублей, а благодарность всё равно искренняя, слова тёплые; несмотря на то, что холодный ветер отчаянно пытался их остудить, они грели.

По дороге к остановке я всё думала, что, если встречу кого-то с протянутой рукой, обязательно положу в неё этот червонец.

На пути мне никто не встретился. Я прождала свой автобус почти час. И замёрзшей рукой со спадающими кольцами перебирала в кармане монетку.

Чёрный кот

Когда тебе три года, мир представляется сплошным калейдоскопом открытий. Как будто смотришь в длинную картонную трубочку, наведя её на свет, слегка поворачивая её в маленьких ладошках, а в ней разноцветные стёклышки складываются в волшебные узоры. Лёгкий поворот – и узор сменяется новыми необыкновенными узорами, от которых так радостно и счастливо.

Утро врывается включённым светом люстры, бьющим прямо в глаза, – мама стоит с улыбкой и ждёт, когда я сяду на кровати и пойму, что пора вставать. Громко работает радио, бодрым голосом приглашая на утреннюю зарядку, мама терпеливо одевает сонного ребёнка, ставит на ноги и, взяв за руку, ведёт в садик.

День – целая вселенная, куда я ныряю, как исследователь в сказочный мир, каждый раз не успевая вобрать в себя ощущения первооткрывателя, ведь, как всегда неожиданно, наступает вечер. Приходит мама, и я нехотя ухожу из ярких, красочных залов детского сада в ледяную темноту северного города.

Вечером в мою жизнь входит семья – мама, папа и сестра. Проходит весёлый ужин, мы делимся друг с другом событиями уходящего дня, играем, чаще всего в настольные игры, а особенно в лото.

И вот тут наступает моё самое любимое время, хотя и очень, очень противоречивое. С одной стороны, всё плохо – надо идти ложиться спать, а ведь так не хочется! Всегда-всегда не хочется! Мы с сестрой старательно оттягиваем момент, с недовольством глядя на кровати, пытаюсь держаться от них подальше, словно это ловушка для нас – если ляжешь, то постель, захватив в плен и опутав одеялом, уже не отпустит до утра.

Мама, каждый раз слыша наше: «Мамочка, ну можно мы ещё поиграем?» – с улыбкой идёт к книжному шкафу и, словно

фокусник, достаёт новую книгу. Мама использует безотказный приём – мы пулей несёмся чистить зубы и ныряем в постель, затаив дыхание: сейчас будет волшебство.

Самое настоящее!

Выключается верхний свет, и в магическом сиянии, исходящем из-под металлического зелёного абажура настольной лампы, раскрывается книга, и мама читает необыкновенные истории или сказки, уносящие наше воображение в иные реальности.

Но однажды появилась она – самая страшная книжка в моей жизни!

Книжка была небольшая, словно школьная тетрадка, разрезанная напополам. На глянцевых страницах красочная история в стихах о Ночи, самом тёмном времени суток. Там, среди фиолетово-чёрных тонов – огромная луна, и лишь исходящий от неё ледяной белый свет, слегка окутывающий чёрные многоэтажные кособокие дома, немного утешал моё взбудораженное воображение. А на каждой странице, во мраке глубокой фиолетовой ночи бродит он – Чёрный кот – коварный, хитрый и злопамятный. Стихи вкрадчивым голосом мамы рассказывали о том, что Чёрный кот бродит по крышам и всегда заглядывает в яркие окошки, проверяя, как ведут себя дети. Я с ужасом всматривалась в окна на каждой странице в надежде, что дети не будут выглядывать, что их не увидит Чёрный кот! «Прячьтесь, прячьтесь! Только не выглядывайте!» – кричал мой внутренний голос. Что Чёрный кот будет делать, если увидит, что дети плохо себя ведут, воображение, к счастью, рисовать не желало.

Конечно, стихи ещё рассказывали и про мокрого кота под дождём, и про ласковое солнышко, под лучами которого нежился всё тот же Чёрный кот с улыбкой от уха до уха. Но и круг солнца не спасал от мрака ночи, и дождик лился в клубках тумана среди чёрных крыш.

Чёрный кот, как злой властелин ночи, круто изгибал спину, прыгая из круга луны со страницы на страницу, и пронзал меня своими жёлтыми прищуренными глазами.

Так страшно мне ещё не было никогда!

Мама дочитала книжку, положила её на самый верх этажерки, выключила свет, поцеловала нас с сестрой и вышла из детской.

Я лежала ни жива ни мертва, укрывшись с головой одеялом, боясь пошелохнуться. Там, надо мной, на пятой полке этажерки, в ворохе глянцевых листков притаился злобный Чёрный кот! А вдруг он вылезет из книги и прыгнет на меня? Я вспомнила, что сегодня в садике вела себя не очень хорошо – стукнула Сашку за то, что он дёргал меня за платье, пытаюсь оторвать кружевную оборку. Ой, мамочки!

Тихонько откинув одеяло, я встала на шатком мягком матрасе пружинной кровати и попыталась достать книгу, чтобы спрятать её подальше и не дать вылезти Чёрному коту. Но ничего не получилось. Как ни старалась, не смогла дотянуться до книги, уголок которой зловеще высовывался с далёкой полки этажерки с витиеватыми тёмно-коричневыми лакированными столбиками.

Сестра уже всю спала – от неё теперь помощи можно не ждать.

Тогда пришла спасительная мысль – спрятаться в своём убежище. Я сползла под кровать, прихватив подушку и одеяло, снова вылезла из убежища и накинула покрывало на кровать так, чтобы оно свисало почти до самого пола. И опять нырнула под кровать.

Сквозь щёлку между полом и покрывалом я вглядывалась в темноту комнаты в страхе, что Чёрный кот вылезет из книги и найдёт меня.

В ужасе я увидела, что жёлтые глаза кота смотрят на меня из мрака ночи. С колотящимся сердцем я вскочила и прямо в ночнушке, босиком побежала от страшного взгляда по синему

снегу, а кот, догоняя меня, вот-вот норовил схватить лапами с острыми когтями...

– Солнышко, ты почему под кроватью спишь? – спросил кот маминым голосом, и я проснулась. – Зачем спать на полу, если есть кровать?

На следующий вечер мама, как всегда, уложила нас с сестрой спать и взяла из книжного шкафа книгу сказок.

– Нет, мамочка, прочитай снова про Чёрного кота! – выпалила я неожиданно для себя.

– Мы же вчера про кота читали. И мне показалось, что тебе не понравилась книжка.

– Понравилась, понравилась, – прошептала я, глядя на маму взглядом, полным ужаса – я же не буду рассказывать, что целый день ждала этого момента, чтобы убедиться, что Чёрный кот не выскочил из книги.

– Ты уверена? – с сомнением спросила мама, на всякий случай приложив губы к моему лбу – так она всегда проверяет, нет ли температуры.

Но у меня температуры не было. Я попыталась улыбнуться:

– Да, да, почитай, ну пожалуйста!

Мама взяла книгу с этажерки и раскрыла первую страницу. Я с огромным облегчением выдохнула – Чёрный кот был на месте.

Читая, мама перелистывала страницы, на которых Чёрный кот выгибался, прыгал, сидел и лежал на тех же крышах и балконах, что и вчера.

В тот вечер я осталась спать в своей постели. Но на всякий случай плотнее укуталась в одеяло, оставив щёлочку, чтобы наблюдать за этажеркой, куда мама опять положила страшную книжку.

Несколько дней подряд я с упорством просила читать маму стихи про Чёрного кота. Ещё и ещё.

А потом, когда наступил выходной, нам не надо было идти в детский сад и родители оставили нас дома, я попросила маму дать мне книгу про кота.

Мама, папа и сестра смотрели что-то по телевизору в большой комнате. Я осталась в детской и открыла книгу.

Преодолевая страх, я с вызовом посмотрела в глаза моего долгого мучителя и, разлепив пересохшие губы, прошептала: «Я тебя не боюсь!»

Чёрный кот с горящими злобой глазами, угрожающе изгибая спину, цеплялся когтями за края страницы, пытаюсь выскочить и вцепиться в меня.

Я, гипнотизируя кота взглядом прищуренных глаз, глубоко вдохнула и неожиданно для себя с каким-то необъяснимым упрямством в голосе принялась читать наизусть стихи, которые столько вечеров подряд пугали меня и будоражили воображение.

И вдруг в какой-то момент, словно вспышка, пришло осознание того, что злой кот никогда-никогда, вообще никогда не выскочит из книги в мой мир!

Бесстрашно перелистывая страницы, я мстительно глядела на Чёрного кота, который, и я теперь это точно знала, навсегда останется пленником Чёрного города.

Навсегда!

Чёрный кот, я тебя больше не боюсь!

Константин Чиганов

Испанский сон

*– Смертью ничего не докажешь,
– сказал я, – надо доказать победой.*

Михаил Кольцов
«Испанский дневник»

1

Иногда мне снится, как я засыпаю за баранкой грузовика – рёв и пламенники фар встречного заставляют судорожно выкручивать ватное кольцо руля, сминающееся в руках. А иногда я грузу рыбу – бесчисленные корзины салаки, источающей соль. Из тёмного трюма баркаса в солнечный жар, потом в ворота вонючего склада. От соли там любая открытая ранка превращалась в гнойную язву, а грязный пластырь от пота отклеивался.

Но самый худший сон – я чищу ботинки. Сотни грязных ботинок, выставленных в коридор отеля, щётки и густой цветной гуталин, чёрная банка кончалась первой, за ней коричневая. Дольше всего держался тёмно-красный – у меня осталось полбаночки, когда я взял расчёт. Я тогда выдержал недолго. Наверное, виной дворянское происхождение, но отчего-то работой сантехника я не гнушался, возня с трубами мне даже нравилась. К тому же хозяева квартир иногда кормили обедом.

Парижу нужны победители? Да чёрта с два! Парижу нужно сладко жрать и мягко спать, и всё это обеспечивают тысячи вонючих червей, каким был я. Я побывал даже трубочистом. В Париже двадцатых не так-то просто найти работу, да ещё эмигранту с бессильной зелёной бумажкой вместо гражданства.

Вербовщику не стоило долго стараться. Кулаки у меня чесались от такой жизни. Я думал про Иностранной легион, но там без меня хватало добровольцев для набора. Да и под казарменную муштру попадать не хотелось.

Я и не против был умереть, прихватив с собою парочку сволочей для пушного уважения *там*. Франко мне не нравился – противная мелкая физия с усами. Он походил на усадебного садовника из *тех* времен, тишком продававшего наши яблоки и вишни. В общем, за сдельную плату я отправился хлебнуть героизма – на чёрной греческой лоханке с высокой трубой. Там были негры, малайцы, китайцы, немного европейцев – ни одного француза, пятеро крепкошеих белых американцев: из Бостона, вроде. Мы все почти не разговаривали – лично я едва понимал их хромой гугнивый французский и каркающий непережёванный «пиджинглиш».

Они потом хорошо умирали – некоторые из них, кто не сбежал и кого не шлёпнули втихомолку за трусость. Вам стоило бы поглядеть. Европейцы разучились умирать. В Россию их надо, для практики.

Я смолил скверно подделанный марсельский «Житан» и мысленно перебрасывал цифры на счете – если я останусь жив, чтобы его обнулить. Первый взнос уже полёживал, из него капали сантимы, чтобы слиться во франки. Новенькие армейские ботинки я не снимал и во сне – все так делали, впрочем. Благодаря этакой здоровой предусмотрительности на испанскую землю я ступил обутой ногой.

После табачного тумана (сквозь сизые тучи едва пробивалась крошечная луна потолочной лампочки), после потной вони и ночного шепуршания крыс, ощутимо шатаясь от качки, я вышел на пирс по дощатой сходне, с тощим мешком за плечом. В мешке две банки свиной тушёнки, выменянные на фамильную серебряную ложечку, последнюю, запасные носки, бельё, бритвенный станок в деревянном ящичке да кусок серого мыла.

Полгода спустя мешок приобрел грубые штопки, вместо тушёнки лежала чёрствая краюха и кусок горского козьего сыра, годами старше пастуха, протянувшего мне лакомство. Ещё в брезентовой глуби поселился пистолет – трофейная, с гравированным соколом на затворе, «Астра 400» в компании запасной обоймы. А место сломанного в толще толовой шашки

дёрмовенького французского ножа на поясе заняла настоящая наваха.

Вот и вся разница. Да ещё пара осколков под кожей на шее, возле позвоночника.

Наверное, танкисты или лётчики запоминают войну по-иному. Для меня воевать – значит шагать и шагать, днём и ночью, по льду и камням, хруп-хрусь-хлюп, переставляя ноги даже во сне – спать на ходу учишься быстро. И меньше всего мне приходилось стрелять. Винтовка, «маузер» 98 года, обычно оттягивала плечо бессмысленным дрючком.

Воевать неинтересно. Тяжело. Иногда страшно. От мирной безгливости вполне избавляешься через месяц-два, слой сала, пота и грязи согревает тело, но вот вши... Чёрт, я так и не притерпелся, я ненавидел колонию желтовато-белесых мразей, как монах – сонмище мелких бесов.

То нас гоняли марокканцы, то мы отбивали предгорья. По утрам подмораживало, лужи похрустывали. В тот раз повезло – я нежданно завалил итальянскую пулемётную танкетку. Я берёг в правом подсумке три бронебойных патрона. Эта серозелёная коробка на узеньких гусеницах торопилась по лесной дороге, и сверху, с заросшего боярышником и шиповником яра, мы издали услышали натужный взвыв двигателя и клацанье изношенных передач.

Я стрелял лучше всех в роте – по знаку капрала пробрался в среду кустов, уложил на ветку ореховое ложе, подвёл колышек мушки на грязную кургузую корму. Танкетку качало. Раз. Толчок приклада. Два. Привычное движение руки взад-вперёд, холодный шарик рукоятки в ладони. Три.

Смолкнув, танкетка стала.

У нас была только одна горячая бутылка. Но доставать её не пришлось, они вылезли сами.

Водительский люк откинулся назад – скрипнул и стукнул отчётливо, так тихо стало в лесу. Высунулась круглая голова в чёрном кожаном шлеме. Они не слышали выстрелов, конечно.

Решили, мотор издох сам. Откинулся второй люк, и тогда я повёл мушкой.

Первый свесился на лобовую броню, разбросав руки, второй провалился внутрь. Никто их не вытаскивал, чтобы с честью прикопать – мы слишком устали. Только обшарили карманы. Одну тупорыленькую Беретту образца 34 года капрал взял себе, вторую протянул мне. Я сунул пистолет в мешок – к испанской сестре. Обменяю потом на харчи.

Танкетку мы сожгли, полив из канистры, привязанной сбоку рубки. Кремация ничем не позорнее братской могилы.

2

Дом на склоне стоял добротный, из серого камня, с постройками поодаль. Крыша под бурой черепицей, и целые окна – мы подтянули ремни, капрал достал и надел пилотку с бордовой кисточкой.

Живности во дворе не отыскалось, а то мы б живо занялись её спасением из неволи – в желудках урчало с утра, громче моторов пикировщиков над Мадридом, когда они падали на наши головы, чтобы испражниться бомбами.

На стук капрала явился бритый старик в рабочей одежде, выцветших штанах, синей куртке вроде матросской и серой кепке блином. На бурых ступнях его перекрещивались верёвочки деревянных сандалий.

Запахшими тёмными глазами он обшарил нас, отметил винтовки и тяжёлые ботинки с обмотками. Потом сказал:

– Републико, кампанерос?

Капрал отвечал, что да. Тогда старик посторонился и сделал вялый жест. Революционным рвением он не страдал, а страдал ревматизмом и хромотой.

Мне показалось, я слышу, как потрескивают его суставы. Мы вошли следом. Тогда-то я увидел её.

И подумал – «гоголевская панночка». На ней было длинное тёмное платье, а на руках она держала кошку. Не чёрную,

трёхцветную. Черноты хватало в ней самой. Жгучие глаза и рассыпанные по спине кудри.

Нас всех проняло, капрал, не вспоминая о двоих детишках, подкрутил усы и отдал честь со словами:

– Здравия желаю прелестной сеньорите!

Она повела взглядом и чуть дольше смотрела на мои русые вихры. Потом сказала:

– Ола. Проходите. У нас есть холодная баранина и вино. Хлеба только совсем мало.

Я отозвался на моём несказанно изящном испанском, как истый кавальеро:

– У нас свой хлеб, только чёрствый. Сыр и зелень. Поешьте с нами, сеньорита... сеньорита...

– Рамона. А это мой папа.

Старик закашлял и сказал:

– Роми, дай гостям напиться. И сходи к тётке, принеси мяса и свежую краюху.

Но гостеприимства я в голосе не слышал.

Она недолго просидела с нами, накинула чёрную кружевную шаль и ушла. Старик подал бурдюк с вином и скрылся.

Косоглазый Энрико, с брюхом, вмещающим бочонок, сказал, досуха выжимая бурдючок в оловянный стакан:

– А ведь есть у седого, небось, и кое-что получше такой кислятины? Не может же тут не быть погреба.

В конце концов капрал, потирая червлёный нос, вызвался пойти и проверить. Для пушного авторитета он расстегнул кобуру.

Вернулся наш командир как-то быстро и угрюмо. Подошёл к столу и бросил рядом с кувшином вина пачку патронов и белую повязку с нарисованным пучком средневекового оружия: эмблемой «Фаланхе испаньоль».

– В подвале ещё чёрт-те что, – сказал он, – несколько винтовок и гранаты. Хорошо, я догадался открыть ларь у стены. Диас, Энрико, тащите старого ублюдка во двор. Педро! – обратился он ко мне. – Скоро сюда вернется та девка. Тут одна

дорога в деревню под горой. Встреть её и веди сюда. Начнёт барахтаться, можешь пристрелить...

Кто-то сказал:

– Может, оставить? Память ее маленько...

– Посмотрим, – капрал достал пистолет и выглянул на двор – туда уже приволокли старика, скрутив ему руки за спину.

Я взял винтовку и пошёл.

За спиной загомонили, кто-то, наверное, капрал, чёрно выругался. Хриплый выкрик «Вива хенераль Франко!» Думаю, старик надеялся, что дочь услышит.

Хлопнул выстрел.

Похоже, они поняли: старик ничего не скажет.

3

Её чёрное платье я заметил уже вблизи, с корзиной она шла по тропке, ловко ступая маленькими тупоносými башмаками.

Я затопал, хрустя сучьями, чтобы услышала издали.

Она замерла и поставила корзину. Красная шапочка и серый волк.

– Ола, Рамона, не пугайтесь, – чтобы она не побежала, сказал я; грязный, вонючий солдат в рванине, месяцами не выдавший женщин, – всё это было у неё на лице.

– Что-то случилось? – спросила она. Сколько ей – восемнадцать? Вряд ли много больше.

– Не ходите домой. Уходите отсюда, к родственникам, к друзьям. У вашего отца нашли оружие и форму Франко.

Её передернуло, как от тока.

– Нет, вы ему уже ничем не поможете. Идите. Я скажу, что вы не пришли.

Она молча заплакала, не пытаясь утираться. Повернулась и пошла назад.

Я проследил за тонкой чёрной фигуркой на склоне, среди зарослей шиповника. Облака разошлись, и глянуло солнце.

Кто-то крылатый и мелкий зачивинькал над ухом: чи-и-виньк, чи-и-виньк.

Потом от дома донеслась очередь. Стрелял итальянский пулемет. С нами такого не было.

Там стреляли ещё. Мне оставалось одолеть один поворот тропы, чтобы за склоном увидеть дом Рамоны, когда показались серо-зелёные итальянские мундиры. Я кинулся вниз, головой в кусты, не размышляя – выходит с винтовкой против ручника пусть идиот от рождения. Заметили. Застучала швейная машинка смерти, пуля взыкнула поверх головы – пулемётчик завысил прицел. Потом меня ткнуло под лопатку, сбilo с ног и покатило вниз, сквозь колючие сучья.

Дальше не помню...

Я лежал на мягком, в сумраке, и отсвет из окна падал на стеклянный кувшин на столике, наполовину полный воды. Пить хотелось. В плече тянуло, выкручивая левую руку болью.

Мутило, поташнивало. Жив.

Она вошла, присела у кровати и уставилась мне в лицо тёмными ночными глазищами – в том же чёрном платье, но без шали на волосах. Она сказала:

– Тихо. Как вас зовут?

– Педро. Здесь – Педро.

– Я так и думала, что вы не испанец. Европа?

– Россия. Подальше от революции. В Париж. Потом сюда.

Наёмник.

– Слушайте! – она оглянулась на дверь, почти зашептала, – Вы муж моей двоюродной сестры из деревни. Родом вы из Астурии, нездешний. Сюда шли, чтоб помочь отцу по хозяйству, увидев красных, бросились бежать. Республиканцы стреляли в вас, ранили. Я вас нашла возле дома и выхаживаю. Вашу старую одежду и... все вещи я спрятала, надёжно. Итальянцы нас не тронут – они знают об отце, сочувствуют.

– А что с другими? – я уплывал в тень, и только её белое лицо держало здесь, по эту сторону сознания.

– Все убиты. Был бой. Двое итальянцев тоже, и один ранен, но легко. Я его перевязывала, слышала, они говорили про какую-то сгоревшую машину в лесу. Так они узнали про вас.

– Ч-чёртова танкетка.

– Тсс... Спите.

– Попить...

Она напоила меня прямо из кувшина. Язык перестало сводить сушью. Эта девочка, теперь сирота, твёрдо держалась, ничего не скажешь.

Я уснул...

Я проснулся, когда кто-то осторожно присел на край постели. Голова гудела, плечо пекло, но гораздо меньше. Что-то тугое и прохладное стягивало рану.

Луна заглядывала в окно, как когда-то дома. Но здесь она другая, испанская луна большая и жёлтая, как голландский сыр. Кажется, на неё должны молиться мыши. Наша куда бледнее.

Роми сидела, сложив на коленях белые руки.

Я спросил:

– Что будем делать?

– Все спят. Завтра итальянцы уйдут. А вас надо в больницу. Вот только ближайшая далеко.

– Я смогу встать и идти. Вы хорошо перевязали.

Она коснулась моего лба прохладной лёгкой рукой.

– Педро, у вас температура. Но и здесь лежать нельзя. Сюда придут снова. Не бойтесь, мы можем говорить. Они улеглись в том конце дома.

– Лишь бы не гости-марокканцы. Я видел, что после них остаётся.

– Утром я проведу вас до деревни. Такой путь вы одолеете. Там у друзей возьмём тележку с ослом и повезём вас в госпиталь.

– За линию фронта?

– Хотите остаться здесь?

– У меня в мешке два пистолета. Побольше отдайте мне, живым я к чёрным дьяволам что-то не хочу. Ну а второй, маленький, спрячьте у себя. Если что, скажете, что подарил итальянский офицер-поклонник. Сейчас никого не удивит женщина с оружием. Но лучше не показывать никому. Всё же надо оставить меня возле деревни. Я привык сам выкручиваться.

– Не порите чушь!

Она сказала это сердито, даже гневно. Я продолжал:

– Спасибо вам, Роми. Правда, вы-то что собираетесь делать?

Она отвернулась, в лунном луче блеснул уголок глаза.

– Здесь я не останусь. Уеду. Подальше куда-нибудь. Где нет войны. Папа кое-что накопил... Я подозревала, когда он приглашал к себе этих, из «рикете», всё не просто так. Хоть мама не увидит. Они снова вместе, а я... куда я...

Теперь она плакала, беззвучно, содрогаясь всем телом. Я взял её за руку здоровой рукой. Очень хотелось обнять её и покачивать, глядя по голове, пока не выплечется.

Она покачала головой:

– Я должна вас ненавидеть. Вы ведь из этих и были с ними. Но я не могу. Я ещё не умею ненавидеть. У меня... мне было некого. Теперь и этих убили, я не сумею отомстить за папу. Господи, нелепо всё...

– У вас горе, – сказал я, – горе и полный упадок сил. Можете меня ненавидеть, если вам будет легче. Хоть кто-то на белом свете будет обо мне вспоминать. Пусть и с ненавистью.

– Вы совсем один?

– Родные... кто погиб, кто исчез. Отец с мамой бежали из Крыма, я тогда воевал... Я их так и не смог найти. Но – пока живу, надеюсь...

– Пока дышу, надеюсь.

– Да, так правильно. Овидий. Меня им пичкали в гимназии.

Девушка вздохнула, вытерла глаза и переменила позу, немного расслабившись. На руке перестала колотиться жилка.

– Педро, вы говорите не как простой солдат.

– Я дворянин по крови. По вашему гидальго. Не похож, конечно... Роба небрита, ноги немыты, – я пытался её отвлечь и хоть чуточку развлечь. Не получилось.

– А поезжайте в Париж, – сказал я. А сам подумал; там хоть не стреляют, и продолжал самым уверенным тоном: – Вправду, там безопасно. Я, если выживу, приеду, когда кончится война. И мы погуляем по Монмартру, утром, в воскресенье, когда собирается летний дождь, и почти никого нет, особенно лоточников. Эйфелеву башню посмотрим. А?

– Хорошо, – Рамона осторожно погладила меня по руке, как нервного ребёнка, мне стало приятно и уютно, – теперь спите до утра. И чтоб рана не вздумала воспалиться. А утром пойдём.

Она встала и пошла к двери. Обернётся или нет?

Обернулась на пороге:

– Наверное, вы правы.

– Если мы попадём в Париж, – сказал я, – то каждое воскресенье с десяти до полудня я буду ждать вас возле... пусть прямо на Эйфелевой башне. Первый снизу балкон, на восточном углу.

4

Я не хочу вспоминать, как мы добирались до госпиталя и как потом расстались. Своих скитаний по госпиталям я тоже не хочу помнить. Многие умерли у меня на глазах и умерли препогано. В бою лучше. Мы откатывались по всем фронтам и, в конце концов, сдали Мадрид. Франко – сволочь, но в талантах стратега ему не откажешь.

И как мы грузились на пароходы, и налетели трехмоторные «Юнкерсы», я рассказывать не буду. Плыли в вонючем трюме, ничуть не лучше того, в каком я попал в Испанию, – я запомнил только нудную боль в руке. Больше мне незачем напрягать память. Война закончилась. Я пережил её. Всё.

А теперь, похоже, лучший друг Франко, кривобокий ариец Гитлер, готовит то же для Европы. Чтоб их поудавили всех их же подданные.

Мерло оказалось скверное. Я вышел из бистро, пересчитывая тощие франки в портмоне. Плата за кровь дождалась меня.

Было страшно. Правда, я трусил. Я так не боялся, когда видел чёрное лицо марокканца над мушкой его винтовки. И там, под «Юнкерсами», я тоже так не боялся.

Воскресенье. И на лестнице на Эйфелеву башню очередь.

Я поднимался и не чувствовал ног. Как ни глупо, но я надеялся. Вот открылась первая площадка.

Вон там – её восточный угол, а подо мною – Париж в серой лёгкой слякоти.

А у перил (или мне мерещится?) стоит одинокая женщина в чёрном. И ветер раздувает её чёрные локоны. Но лица я пока не вижу.

Шоумен и лев

– Да будет торжество на сцене,
Смертельный номер, господа!
Впервые на большой арене
Лев Дмитрий – юная звезда!

Так начиналось представленье
Шоумена Брунсо Шапито,
И в предвкушении веселья
Галдели дети так легко.

Выводят льва, царя саванны,
Плачевен внешний вид его.
Больной, измученный, уставший,
Он не смотрел ни на кого.

Глубокой думой озадачен,
Понять он хочет наконец:
«А нужен этот мне подрядчик?
Я есть хочу! Я не жилец!
Мне надоели истязанья
И избиения кнутом,
Устал я, нет здесь пониманья!
...А к чёрту всё, лишь раз живём!»

Тот день навряд ли позабудут.
Шоумена Брунсо Шапито
Задрал лев Дмитрий, и степенно
Краснело цирка полотно...

...Скажите, льву зачем мученья
Для вашего лишь развлечения?

Матильда

С детства Матильда мечтала блистать,
Хотела Джульетту на сцене играть,
Когда-нибудь, может, ещё Дездемону,
А может, в рок-опере спеть за Юнону.
Актёрским талантом она обладала,
Активной была, ну и пела немало.
Однажды к ним в гости приехал театр.
«Таланты мы ищем!» – кричал транспарант.
Матильда решила: «Вот звёздный мой час!
Известные люди прослушают нас!»
Неделю она провела в тренировке,
Следила за тем, не пропала ль сноровка.
На два часа раньше пришла наша дива,
И да, обстановка была суетлива.
В театре собралось так много талантов!
Танцоров, актёров, певцов, музыкантов.
«Как не затеряться в такой мне толпе?» –
Закралась Матильде мыслишка извне.
Сердце Матильдушки так трепетало,
Что та даже в обморок чуть не упала!
И вот час настал... Сладкой славы момент!
На сцене включился прожектора свет.
Легко, словно бабочка, в танце кружилась,
Характер Джульетты создать получилось.
Матильда трудилась, она так старалась.
Но публика ей лишь в лицо рассмеялась.
Не понимала бедняга Матильда,
Что зрителя так рассмешило уж сильно?
И главный судья кое-как смог сказать:
«Негоже собаке на сцене играть!»
Прогнали Матильду за стены театра,

Лишились они столь ярчайшего кадра.
Но юная дива ничуть не сдалась!
Актрисой она сразу в цирк подалась.
И вскоре любимицей детскою стала,
К ней слава пришла, о которой мечтала!

Эйсоптрофобия¹

В комнате этой бесшумно и тихо,
Свет преломляется в каждой детали,
В такой обстановке нетрудно стать психом,
Уйти по тоннелям в далёкие дали.

Кругом миллионы твоих отражений
Все мысли насквозь, словно книгу, читают,
И сколько в твоей было жизни падений
Для них не секрет, ведь они это знают.

И некуда скрыться от глаз их коварных,
А сердце наполнит сжимающий страх.
В глаза прямо смотрят и знают все тайны
Твои отраженья в больших зеркалах.

¹ Эйсоптрофобия – боязнь собственного отражения.

Закружила холодная темень,
Минус тридцать на юге суровом,
А на севере диком бескрайнем
Созревают уже помидоры.
Всё случилось так быстро, мгновенно,
И понять не успели мы даже –
В Антарктиде курорт открывают
С тёплым морем, серебряным пляжем.
А в Катаре, засыпанном снегом,
Покрывается льдами пустыня
И, стараясь немного согреться,
Мчатся страусы, будто пингвины.
Это всё из-за сдвига орбиты.
Прежней больше не станет планета.
Посижу я ещё в карантине,
Обосную научно всё это!

Не забывай меня, мой друг

Не забывай меня, мой друг!
Хоть жизнь сплошная перемена,
Есть то, что в жизни неизменно, –
Удел мечтаний и заслуг.

Не забывай, мой милый друг,
Моменты радости и грусти,
Те ноты лёгкие в искусстве –
Предвестник боли и разлук.

Быть может, среди далёкой пыли,
Сквозь шум мерцающих комет
Сей расцветающий букет
Из красок тайных изложили.

Есть миллионы потрясений,
Загадок множество вокруг
И в жизни множество течений,
Мир замыкается вокруг...

...И даже после потрясений
Не забывай меня, мой друг...

Костёр

Разгорелся костёр над горами
У палатки уставших туристов.
Свежий воздух, пропитанный мхами,
Тьму ночную приветствовал свистом.

Окружённый заточенной галькой,
Влажной глиной и камнем большим,
Прометеев сын, глядя украдкой,
Ощущал себя слабым, чужим.

Устремились глаза золотые
К небу чёрному, тайному, вечному,
Где резвились всегда молодые
Звёзды яркие, тёплые, млечные.

Их свободе, блаженству пурпурному
Позавидовал пылкий огонь
И, собрав всю энергию бурную,
Крикнул в небо, закинув ладонь:

«Эй вы, звёзды, девы ночные!
Как вы можете в небе кружить?
День за днём гнать суда ледяные
И такими свободными быть?»

Но остался вопрос безответным,
Не слышали звёзды его.
Только ветер, шумящий под небом,
Всё смеясь, посмотрел на него:

«Не завидуй чужому ты счастью,
Твоя жизнь без того коротка,
Потеряешь ты всё в одночасье...»
И заполнила душу тоска.

«Мне бы только попасть на свободу...» –
Очень тихо сказал огонёк.
Ветер горный с большого разгона
Налетел на златой уголёк.

Пепел взмыл над туманною бездной,
В танце диком безумно кружась,
Он почувствовал привкус свободы,
О которой не мог и мечтать.

И за табором странников белых
Устремился отважный герой.
А в тюрьме из заточенной гальки
Догорал уголёк золотой.

Дождь

Позвольте мне залезть на крышу
Во время тёплого дождя,
Хочу шум капель тихий слышать
И облаков касаться я.

Смотреть, как вдалеке мерцает
Разряд из молний в темноте,
Пусть ветер мне лицо хлестает,
Свистя свирепо в тишине.

А гром всё эхом отдаётся,
За каплей капля упадёт,
Воды поток с небес несётся,
Всё пуще небо слёзы льёт.

И миг заполнят всё пространство
Духи из скошенной травы,
Смешавшись с пылью и асфальтом,
Цветущей тиной из реки.

Позвольте мне залезть на крышу,
Поймать спокойствие хочу.
Закрывать глаза... и вновь услышать,
Как топит буря боль мою.

Хоть небросок и выглядит просто,
У него лишь одна задача:
Каждый день он спасает жизни,
Не рассчитывая на удачу.
Хладнокровный, как северный ветер;
Его нервы ковались из стали,
И о нём слагали легенды
Те, кто в жизни его повстречали.
Он идёт лишь туда, куда нужно,
Где злодейка-смерть с жизнью играет,
Хоть черна она и бездушна
И все соки из тел выжимает.
В страхе держит она миллионы,
Никого не щадит злая ведьма!
Но герой лишь спокойно смотрит
На руки, повисшие плетью.
Неизвестен исход этой битвы,
У обоих все шансы равны.
Не помогут простые молитвы,
Здесь уменья героя нужны.
Но порою мы все забываем
О герое с волшебным мечом.
Для него-то оружие – знания,
И зовётся он просто – врачом.

Алина Евлюхина

Расскажи мне, как
Ты вступил во врата, рыцарь тени...
Расскажи мне всё,
Что нас ждет в Запределье...

Мне поведай ты,
Что искать в Зазеркалье
Этих вещих снов,
Мыслеформ, расстояний.

Я не знаю, как
Расплатиться с призрачным прошлым.
Я кричу ветрам,
Я зову тебя в бездорожье...

Я молюсь о том,
Чтоб ты был со мной, Рыцарь Света,
На исходе тьмы,
Во вратах любви запредельной этой...

Космический беспредел

На губах моих и в моей груди
Лики мужества матрицу обрели...
И не скрыться мне, не сорваться мне,
Ведь они на души моей холсте...

Лёгким взмахом крыл,
Хной, морской водой
Обернёшься ты,
Искренний и молодой...

И настанет день, и проявит суть...
Мне б дожидаться его и тебя вдохнуть –
Озарений твоих и разящих стрел, –
И начнется космический беспредел...

Просто потому что есть ты
смеются 33 солнца
реки становятся морем
а слёзы падают в Лету
просто потому что есть
лёгкие как у космонавта
годовой запас кислорода
и озоновые дыры сияют
просто потому что
мы веками жаждали встречи
орлы летают над морем
и лебедей созерцают
просто потому
милый представь на минуту
ты и я между мирами
синие-синие кляксы
а сейчас щебечет скворечник
и цветут абрикосы
просто

Поговорим с тобой в последний раз
И вспомним всё далёкое, святое,
Прозрачное, двуличное, большое –
Всё то, что прежде связывало нас.

Поговорим о том, что мы – мертвы,
Мертво и всё, что было между нами:

И треки, и рисунки, оригами,
И запах свежескошенной травы.

Мертва постель и мёртв скрипучий дом –
Он лишь на чертежах живым остался.
Гитара, песни, обелиски, танцы
Моею кровью прописались в нём.

И нет вины, и некого винить.
Есть новый мир и новое рожденье.
Есть тот, кто дарит нынче вдохновенье...
Ты отпусти меня его любить.

Биоритмы Земли на паузе. Дети 80-х.
В полумраке кассету включить и поехать.
Из иного тайма вещает раз с 10-го.
Голос твой слышен с помехами,
Будто бы Радио Вашингтон:
Северный ветер со всех сторон!

Я стою на причале, я зываю отчаянно:
Милый, милый, милый,
Должна же быть справедливость!
В этой жизни пора бы уже
Без смертей, приворотов и чёрной бумаги.
Кажется, чуть и космической влаге –
быть.

Но не так-то всё просто.
Я контракт заключаю с солнцем и звёздами,
Дабы вымолить рядом тебя и успеть.
Лишь бы не умереть.
Лишь бы не умереть.
И дожидаться непознанного.

Татьяна Ефимова

Воздух пахнет снегом и рябиной,
В свете фонарей туман плывёт.
Осень, как костёр из листьев дымный,
Отгорела и покоя ждёт.

Воздух пахнет выпечкой имбирной,
А в бокале – солнечный мускат...
Осень обнажается за ширмой –
Этой ночью будет снегопад.

Этой ночью день родится зимний,
В пеленах заснежится восход...
А пока лишь снегом да рябиной
Пахнет воздух. И туман плывёт...

Я, потянувшись, проснулась (забыв, что мне снилось) от громкого стука. Вместо будильника двери мои сотрясают конвульсии Взрыва Большого, требуя, чтобы я настезь открыла пространство для вновь нарождённых квазаров.

Было темно так, что свет я включила. Один миллион и четыреста тысяч парсек по диаметру лампа в моём ночнике – моё личное солнце. Ну и пусть оно скоро взорвётся – в кладовой подобных десятки эонов найдётся.

Красные карлики и голубые гиганты, в окна мои заглянув, вопрошают: «Что в крови твоей есть от нас, кроме звёздного света и праха далёких погибших светил?» Да что они знают?! Я не отвечала. Спокойно вкушала свой чай из тех трав, что распускаются где-то спустя миллиард долгих лет на далёкой прекрасной планете...

Древние Ригель и Паруса Гамма огнём голубым завтрак греют – шкворчит мой бекон, и брызгами кварки от жарки адрон покидают... Потом от плиты их отмою в сезон полнолунный, используя ветоши вместо туманность Лагуны.

Что ж, хватит копать! Пора одеваться!

В локоны ленты из звёздных спиралей искусно я вставлю, скрепив на затылке тёмной материи лентой изящно – как в Альфе Центавра. В зеркало гляну кокетливо... Что ж, мне идёт!

Чёрные дыры в резном шифоньере подкинут то тунику мне, то обломки гигантской Сверхновой... Но я недовольна обновой. Я лучше уж белое платье накину до пят и прелестную шляпку с вуалью. Дополню наряд тонкой шалью... Сотни далёких галактик – жемчужною нитью на шею, в браслет – Цефеиды, на талию – Койпера пояс в кометах. Ну, всё! Я одета!

За домом скопление местных галактик – мой палисадник, где зёрна, что атома меньше, вновь всходят и всходят, готовясь для нового Взрыва Большого, чтоб завтра опять сотрясать мои окна и двери в попытке меня разбудить...

...Может быть... мне в саду прогуляться?..

Правда, погода сегодня не очень... Что-то нынче в пространстве активно. Впрочем, магнитные бури, наверное... Скверно...

Вдоль Горизонта Событий космический ветер нагнал Облака Магеллана... И дождь, как назло, зарядил метеоритный. Досадно. Возьму-ка я зонтик кружевной на прогулку. Вот, теперь я готова как будто!

Ну, здравствуй, мой день, моё новое доброе утро!

Пристрели меня. Что тебе стоит...
Ну и что, что всего одна пуля
В барабане с субботы тоскует.
Ну и что, что во вторник бастуют
И патроны меняют на дули...
Пристрели меня... Что тебе стоит?!

Исповедай меня только прежде.
Но не факт, что я сразу покаюсь –
Я по средам, как все, похмеляюсь...
Ты всплакнёшь (тут уж я постараюсь) –
И стреляй! Я не струшу, ручаюсь!
Лишь грехи отпусти только прежде.

Нет, не спрашивай, что мною движет.
Я отвечу, конечно, но смысл?
Мы с планетою этой ошиблись.
По субботам до рвоты травились
Пойлом мерзким. И с этим смирились.
Выстрел твой это всё перепишет.

Ты же можешь... Ну что тебе стоит...
Не сегодня. Нельзя по нечётным...
Я в четверг этот вроде свободна.
Буду в белом. Теперь это модно...
В девять ровно... С картины холодным...
Пристрели меня... Что тебе стоит?

Сегодня меня посетила волшебная фея,
Зелёная фея абсента. Мой ангел туйона.
И, в каплях огня рафинад расплавляя и грея
Забвеньё в руках, я вкушаю яд ярко-зелёный.

Полынный обман! Моя сладкая, милая фея,
Что разум мой алчет, что стать моей силится музой!
Что пить соблазняет меня... И я, сдавшись, хмелею
Под тяжестью терпкого и изумрудного вкуса.

Она развращает меня. Моё воображеньё
Пытается в сети поймать, подарить несвободу.
Полынные ноты вдыхаю я и, без сомненья,
Стихи сочиняю себе и абсенту в угоду.

Я их не прочту никогда, но налью полбокала
Зелёного яда. И, сахар на ситечке грея,
Я вам их налью, я их вместе с абсентом смешала.
Пусть и вас посетит тоже эта коварная фея!

О нет, нет, ты не навсегда в душе моей.
И пусть давно люблю тебя – сто октябрей.
Пусть я давно тобой больна – не излечить.
Но есть, да, есть всему цена. И нам платить
За все бездушные слова и неслова.
Хоть я всё так же влюблена и нетрезва.
Хоть я хочу тебе дарить сто декабрей,
Но время любит разводить и делать злей.
Да, время любит расставлять всё по местам.
И нам придётся зашивать за шрамом шрам.
И нам придётся перестать, любя, болеть,

И записать в тетрадь утрат от сердца треть,
И знать, что кто-то, а не я, роднее стал.
Жить, ожидая забытья, а не похвал.
И пусть уже сто октябрей люблю тебя,
Знай, ты в душе хмельной моей не навсегда.

И чайник закипает на плите,
И ждёт в коробке ароматный чай,
Бормочет солнце в тихом полусне:
«Прощай!»

Букет цветущих лотосов на стол.
Пусть со вчера до завтра постоят.
Плывёт по кухне дивный аромат
не маттиол.

Линялой тканью, бывшей голубой,
Пытался вновь укрыться горизонт.
Но голубой сегодня исключён –
луной.

За дверью море бьётся о порог.
Глубокий вдох, на выдохе слова –
Небрежно пишет на камнях волна
упрёк.

Недолгой жизни скромный урожай...
Но не спеша, болтая о земном,
Мы с Бесконечностью на кухне за столом
пьём чай...

Над глубоким омутом у реки широкой
На скамье сижу я, старый, одинокий.
Ветлы да ракиты, тополя ветвистые –
Пролетела жизнь моя, годы мои быстрые.

Призрачными рыбками под водой кружатся
Детство, юность, зрелость в беспокойном танце.
Юркою плотвою все воспоминания,
Словно насмехаясь, машут – до свидания.

Слабую рукою я челнок сжимаю,
Сквозь ячейки мелкие снова продеваю,
Из тончайших нитей выплетаю сети,
Их закину в омут рано на рассвете.

Я поймаю лучшие, яркие фрагменты –
Детство, юность, зрелость – светлые моменты.
И с сумой заплечной у реки широкой
Растворюсь в тумане, старый, одинокий.

Не спеша челнок снуёт, выплетая сети.
Истекает жизни срок завтра на рассвете.
А в реке снуют мальки ностальгии цвета.
Я рыбачу жизнь свою на исходе лета.

В её доме с резною открытой верандой всегда пахло летом
И чаем из листьев малины, смородины, липы и мяты.
Вечерами в саду пели песни про лето сверчки и цикады,
Их рулады, как солнечный мёд, растекались в воздухе,
зноем прогревом.

А ещё поутру пахло выпечкой сдобной – с клубникой,
жерделей.
В окна, раскрытые настежь, робко смотрели игривые мальвы.
Яблоки с грушами, солнцу бока подставляя, сонно ворчали,
И изабеллы хмельной сизые ягоды, хитро прищурясь,
смотрели.

В доме её уживались друг с другом различные звуки –
Часов мерный ход, мурлыканье кошки, скрип половицы,
И под пение птиц вечерами в трудах деловитые спицы
Ловко мелькали в умелых руках, не ведая грусти и скуки.

В доме её жили сказки волшебные и старинные песни –
Грустные, тихие, длинные, и разудалые, про приключения
тоже...

Принцы, принцессы, драконы, коварные злые вельможи
Прятались в тенях, в шкафах, под кроватью и в сундуках очень
тесных.

В доме её, в каждой комнате, в каждом углу, пряталось детство,
Звонкое и беззаботное, с бантами в светлых, растрёпанных
косах...

Но и сейчас, через годы, ответа на те же вопросы
Мне не найти... как вернуться назад, к ней?... есть такое ли
средство?

И белой строчкой облаков
На бесконечной ткани неба
Нам письма шлют в виде стихов
Жильцы заоблачных миров...
Но мы на нихзираем слепо...

Мой цвет любимый – цвет кубанских рек,
Любимый вкус – соль моря на губах,
И волн коварных восхищает бег,
И солнце, что заснуло в облаках...

Люблю шторма – чтоб ветер по щекам...
И песни волн морским многоголосьем
Столетиями взвиваясь к облакам –
Дождём во время шторма бьются оземь...

Всё уходит в туман безвозвратно –
Завтра будут другими рассветы,
Завтра будут другие закаты...
Но не будет такого, как этот.

Плыл раскалённый воздух маревом,
Сверкала гроза вдалеке заревом,
Стояли травы, от жары хмурые,
И предвкушали встречу скорую с бурейю.

Расплескалась небес синева,
Что-то травы усталые шепчут.
Воздух пахнет полынью. И вечер
Постепенно вступает в права...

–А можно мне на завтрак вместо кофе море?
И пенку можно заменить на облака...
– О вкусах и пристрастиях не спорят...
Вам как? Со штормом или штиль пока?!

Я желаю

Я желаю себе, чтобы страхи во мне в ключья.
Чтобы «ты больше не одна» усыпляло ночью.
Чтобы жизнь была с ароматом твоим и вкусом.
Чтобы грела меня твоя четвёртая с плюсом.

Я б за это тебе – всё время, мне богом данное.
Я б за это стала ручная твоя, карманная.
Я поверила бы, что мир не простой, а божий.
И что счастье – не просто миф, на тебя похожий.

Ради полного утренним солнцем родного взгляда
Я на кон – что угодно из прошлых неважных лет.
А без этого мне ничего от небес не надо,
Потому что без этого их для меня и нет.

Себе

Чувства, что красят щеки,
Вытащи из глубин,
Соли морской потоки
Искренне возлюби.

Не отрекись от зверя,
Выдели уголок,
Им по зубам потери,
Где человек не смог.

Сердце на шип терновый
Броситься отпусти,

И, умирая снова,
Снова его прости.

Снова на лице строгом
Жертвенность напиши,
Будь настоящим Богом
В храме своей души.

Север

По городам чужим, прибрежным, многодушным,
По кромкам улиц раскалённых, в красном дыме
Смятенно ползать, притворяясь местным, южным,
Чтобы забыть твоё негреющее имя.

Но юг не лечит тех, кто кем-то обезморен.
Мне здесь терять, терять остатки теплоты.
И ждать, как вдруг в гитарном струнном переборе
Январь напомнит о рождении мечты.

Запах мороза, табака, полыни, жизни
Северный ветер принесёт издалека.
Память уйдёт из берегов, на щёки брызнет,
И их как будто оботрёт твоя рука.

Наш бой за счастье предрешён моим девизом:
За символ рая на земле, сакральный клевер.
И мне приятно оказаться даже призом
И привезти тебе себя, мой тёплый Север.

Призрак города

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС посвящается

Звуки из прошлого выцветшие забыл он,
Всюду пронзительно властвует тишина.
Слабо колышет шагами свой чернобыльник
Тот, для которого жизнь уже не страшна.

В час роковой весна замерла в бутонах,
Смеха и стонов невнятная круговерть.
Видел, как жизнь растворялась в несметных тоннах.
Видел, как всё в один миг излучало смерть.

Видел свинец, лопаты, бетон и цинк.
Слышал молитвы солёной сиренный вой...
Быль. И родные руины. Ложись на ринг,
Душу свою бесстрашную успокой.

В свете голубоватом, ненастоящем
Гасли твои смотрящие в ночь глаза.
Только не будет горькой полыни слаще
Тем, кому не вернуться уже назад.

Она умеет

Она умеет доставить в ад и спасти оттуда,
Из мелких цветных песчинок складывать витражи,
Текст превращать в моментальный портключ до чуда,
Строить тот мир, в котором нам хочется жить.

Она умеет достать надежду со дна колодца,
Создать в одиночку концерт, инструмент и ноты,

Нас превращать в дрожащих, но смелых канатоходцев,
Ткать из простых приземлённых слов ковры-самолёты.

Пряными травами полнит бездонный чудной кармашек,
Варит бальзам для глаз, фантазии и души,
Она умеет командовать армиями мурашек,
Она умеет делать наше сердце большим.

Любимому автору

Я пила этот текст,
Как чистейший живой источник,
Как умеренный яд,
Тёмно-бурый экстракт полыни,
Не читая рецепт
И ненужный теперь подстрочник,
Проливающий свет
На загадки немой латыни.

Принимала в себя дозировкой
Почти смертельной,
Балансируя телом на грани
Миров и мира,
Становилась внутри бессвязной,
Но внешне цельной,
Чтобы только не спровоцировать
Конвоира.

И металась от края до края,
Играя в чётки,
То в петлю, то назад, не боясь,
Что порядок рушу.
И теперь, притворившись спокойной,

Я знаю чётко,
Сколько пуговиц держит закрытою
Нашу душу.

Если будут лечить, я найду его
Сразу, снова,
Даже если придётся путаться
В каждом слове,
Даже если придётся процеживать
До основы.
Я пила этот текст, и теперь он
В составе крови.

20 строк

Роскошным смертным существом,
Живым и вредным искушением
Пришёл. И стал мне волшебством
И сил магических лишением.

Безвестным тайным небожителем,
Смертельным полным совершенством,
Пришёл. И нет в моей обители
Ни сна, ни бога, ни блаженства.

Мой личный демон и соблазн,
Непоправимый жгучий голод.
Пусть твоих льдистых серых глаз
Меня всю жизнь сжигает холод.

Когда-нибудь, услышав зов,
Шагами вслед изящно-точными
Уйдёшь. Оставшись в кипе слов
И снов, граничащих с порочными.

Я вряд ли – вслух тебе про это...
Но дерзко – с жизни круговертями.
Так, властью любящих поэтов,
Я подарю тебе бессмертие.

Наш двор

Молоко залило наш двор, оградя от мира.
И детьми мы играли, смеясь, что вот – край света.
Если верить, что сказкой полнится вся квартира,
Бесконечны детство, радость, туман и лето.

Та же лавочка здесь, что тепло наших тел впитала,
И фонарь – генератор тумана и мокрой пыли.
Молчаливых свидетелей много, а веры мало,
Что те детские годы действительно в жизни были.

Те же капли несут нам память о том же чуде.
И туман отрезает наш двор от всего на свете.
Вновь и вновь время вспять, если искренне верить будем.
И смеются в нём уже наши [пока что] дети.

Осеннее нашествие

Ноябрь, как орда, наступал холодами.
Рыдали леса, враг в ответ улюлюкал.
Не дашься ему иль откупишься данью:
Янтарной морошкой и огненной клюквой.

Летели лучи, как кочевников стрелы,
Стволы укрывались из бронзы кольчугой.
Казалось, татарские флаги пестрели,
Притихли рябины, надеясь на чудо.

И плакали рощи, омытые кровью
Как будто от войск самого Чингисхана,
Лишаясь сокровищ из листьев покровы.
Дубравы клонились и травы вздыхали.

Вломились в подполье насकोком, неожиданно,
Где клады из ягод, овраги с грибами...
Ветра, промышляя до зим грабежами,
Осеннее золото жадно сгребали.

Железная дорога

Нарезаны листья, прозрачны прожилки,
Натянуты жилы железных дорог.
Летят пассажиры, во сне полуживы,
В полсна, в полглотка – согревающий грог

Осенних дождей. Из заоблачной касты
Курсив полужирный взмывающих стай.

Птиц щедрые залпы палили в закаты
За так, за спасибо – сентябрьский пай.

Закаты вареньем варили из ягод,
Закатки из солнца на праздник открыв.
На ложке печаль и осеннего яда
Щепотка – не страшно, погнали в отрыв!

Мы сорваны с места из русел и кресел,
Леса барбариса алеют вдоль рельс.
Повесы – по весям, оседлость приелась,
Воскресли грачами разбухших небес.

Лиловость фиалок заварена в тучах,
Дымится в воронке лечебный чабрец.
Чем дальше, тем выше. И пьяный попутчик
Взлетит надо рвом, как отставший скворец.

Любовь астронавта

Как сон комариный, звезда волопаса,
Пасущего тучное тёплое стадо,
Сопящее в рыхлых туманах устало
Под звон колокольный вселенского Спаса.
К утру астронавт со звездой расстался,
И плакал, и брёл вдоль эдемского сада.

Волы не спеша шевелили губами,
Жевали взошедший из пахоты сумрак,
И пахло парным молоком и грибами
На млечном пути, где на спинах сутулых
Держали идущие в штопаных сумках
Край сдобного неба и полные жбаны –

Семь солнечных масел, божественных зёрен.
Летел астронавт, а любовь астронавта
Сияла вдали, был бы горек и чёрен
Маршрут без неё, как забытая шахта,
И он ни за что не дожил бы до завтра,
Когда б от звезды не был светом наполнен.

Не спали животные в облаке хлева,
Молчали и тонкие струйки вдыхали –
Щекочущий запах небесного хлеба,
Где синь васильков за стеной набухала,
Поэт проходил, набирая охапки
Стихов для любимой с цветущего неба.

Космические насекомые

В ячейки вложены планеты,
Их беззащитные личинки
Пульсируют в разгаре лета,
За плёнкой сфер неразличимы.

Но, процарапав лапкой выход,
Вспорхнут, оставив оболочку,
Сироп из сердцевины выпьют,
Распробуют просвет молочный.

Тягучи солнечные соты;
Почувствуют прозрачным нёбом
Плод термоядерного сорта
И вкус космического мёда.

Вгрызутся в свежий лист пространства,
Сплетут орбиты нежный кокон,

Желая сквозь туман пробраться
В миры, наполненные соком.

Законы тайные постигнув,
Замрут на лепестке вселенной.
Дрожат созвездий паутины –
Ловушки тел и снов последних.

Сны насекомых беспокойны,
Кошмары сюрреалистичны:
Цветочный космос грубо скомкан
И сжат в горячую частицу.

Так сужены границы рая,
Что не вползти – порвутся жилы.
Пусть бабочек узор сгорает,
Они же верят в то, что живы.

Проснутся, крыльев шёлк распустят.
Настроив тонкие антенны,
Стряхнут остатки сонной грусти
И разлетятся по вселенной.

Бегущая по волнам

Разрежет лезвие натянутую гладь
И впустит изумруд и вкус вишнёвый,
Я вечером на море буду снова
Как сок из ягод этот цвет глотать.

И пробежит девчонка по волнам
Из повести задумчивого Грина.
Я в ней себя узнаю. Чья вина,
Что стала недоверчивой и скрытной?

И солнце, как лимонница в саду,
А на фрегате пьяные матросы
Решат девчонке коротковолосой
Отдать штурвал, чтоб обойти грядю.

А той, что на борту, чего-то жаль:
Сдавила горло болью, как клешнёю.
Она решает – курс не мимо скал,
А прямо в них. И страшно, и смешно ей.

Июль нескромен и не так уж прост,
Он пьёт коктейль из слёз и пенных порций.
Листок печатный – из романа прочь! –
Сложу фрегатом и направлю к солнцу!

Дождь спрятал меня от друзей...

Дождь спрятал меня от друзей
В прохладной печали, не всеу,
Песчинкой в кипящем сосуде,
В роскошной садовой грозе.

Из пойманных молний янтарь –
Синоптик в её эпицентре,
Под купол космической церкви
Приносит огонь на алтарь.

И девушка в платье из туч
Летит на качелях из ливней,
В пике её летчик любимый,
Воистину смел и везуч,

Вулканы из громов держа
В самой сердцевине разгула

И капель разбуженный улей,
За лайнером мчится жужжа.

Пречистые выси мокры,
Легко подчинились приборы,
И ливней косые проборы
Открыли судьбы коридоры –
Вручили иные миры.

Кофе

Да здравствует кофе дымящийся космос!
Лишь небо вздохнуло с утра облаками,
Цеди с наслаждением и не беспокойся,
Рассудок из топкого сна извлекая.

Экспрессия вкуса в глянсе и эспрессо,
Загадочность джунглей и чувственность танца!
Для избранной расы грузились на экспорт
Кофейные вишни с бразильских плантаций.

Чей плод в полутьме, драгоценность в ладони,
Зрачком ягуара таинственно сужен,
Скажи заклинанье – исполнит любое,
Раскроет души первобытную сущность,

На солнце просушен, на кухнях обжарен.
Страсть, нежность и грусть умножает напиток,
Пускает под вечер, горяч и коварен,
По венам бессонницы сладкую пытку.

Молились жрецы эфиопскому солнцу,
Мололи зерно в жерновах на закате.

Чтоб чёрное золото высшего сорта
Тебе приносили с утра по заказу.

Поэзия вкуса! Неспешно и томно
Вдохни аромат, предвкушая знакомство.
В фаянсовой чашке созвездия тонут.
Да здравствует кофе дымящийся космос!

Стихи июня

Стихи срывались фруктами
И с хрустом нарезались,
Где рифмы слишком крупные
И свежие на зависть.

Мы впились в мякоть спелую,
Слогов слетали брызги –
Не ассорти из персиков
И апельсинов грызли.

Трясли слова, как яблоню,
Закатывали в банки
И объедались ямбами,
Не прочь вкусить добавки.

И пусть уже оскомина
От звукосочетаний,
Сочатся рифмы соками –
Лишь подставляй стаканы!

Кузнечик

Кузнечик-чик, он тонкой лапкой чиркнул
И розовым зажѣг кусочек неба.
Пластичен, лёгок, больше фантастичен
И неразлучен с сочностью побега.

Ключом скрипичным закрутил пол-луга,
Мелодию из трав высоких выжал,
Вкус облака распробовал к полудню,
Ультрамарина звук тягучий выждал.

Роса вскипала на листьях купальниц,
Летели ввысь зелёные качели,
И проводили виртуозно пальцы
Лучом по травяной виолончели.

Он в замке бальзамина тенью замер
И молоко из стеблей пил печально,
Симфонии цедил с цветочных камер,
Жуков блестящих в ландышах включая.

Случайно ноту солнечную в поле
Вдруг уронил из лапки сучковатой –
Был звоном литургическим наполнен
Лучистый луг до самого заката.

Птичьи страницы

Мы сидели за столиком литературной кофейни. Вы знаете, там можно заказать кофе или чай с пирожными, а за это выбрать любой роман и читать до самой ночи. Мы взяли, конечно же, томики с поэзией и чай с мятой. И вот стоило нам приоткрыть какую-нибудь книгу, как тут же, шелестя крыльями, хотело... рвалось наружу – стихотворение. И в голове начинало петь и чирикать...

Птичьи страницы, синичьи страницы
Прячутся в гнёздах крепких обложек,
Под оболочкою, что подороже,
Звуки кузнечиков – в строках пшеницы.

В травах из строк – скок-перескок,
Звон-перезвон слога о слог.

Ягоды слов ученица клевала,
Стиль дегустировал тучный профессор.
Книг корешки корнем сонного леса
В синь устремляли иные начала.

Белым листом, липы листком –
К облаку яблоком и молоком.

Словно лупили магическим цепом –
Зёрна печатные сыпались щедро,
Буквы жуками пролазили в щели
Ранних рассказов и свежих рецептов.

Несколько глав вниз головой
Сумрак читал про лопух луговой.

Только поэзии роза и ирис
Вширь разрослись в золотых переплётах.
Там озорной перепёлкой в полёте
Точка металась и в почву вонзилась.

В горке соломы из запятых
Стихнет иль вспыхнет огненно стих?

А мы всё читали, и говорили, и пили чай за столиком на открытом воздухе. Опускался вечер-латте, очень тёплый, с кипящими пузырьками огня. Мы слушали и смотрели, а из книг всё сильнее выросло, шелестело и чирикало:

Белым листом, липы листком –
Ястребом, яблоком и молоком.
Я тебя... облаком и молоком.

Екатерина Меркурьева

Мы с тобою единое целое,
Никакие мы не половинки.
Разрывалась на части вселенная,
Мы создали свой мир без заминки.

Разрушались нейроны и атомы,
Распадались и сыпались в хаос.
Мы с тобой разлетелись гранатами,
Но друг в друге навеки остались.

Незнакомый враждебный мир,
Состоящий из чёрных дыр,
Состоящий из грубых схем
Недоказанных теорем.

Ничего не изменит кольцо,
Не цепляйся, не тешься надеждой,
И слезами зальётся лицо,
Ты пойми, что не будет как прежде.

Разрывается замкнутый круг,
Вечность больше не будет подругой,
Ничего не случается вдруг –
Это станет нам общей заслугой.

Перестанет вертеться тоска,
Раздаваясь, как призраком, эхом.
Заметая руины в песках,
Раздражая заливистым смехом.

Наливаются чувства свинцом
И глаза пеленою тумана.
Ничего не изменит кольцо,
Но, пожалуй, давай без обмана!

Сегодня звездопад стучал по крышам,
И гром гремел, сверкали молний вспышки.
Но ты опять тот звездопад не слышал,
Ты занят был собой без передышки.

Вновь краски жгли, рвало весь небосвод
Салютами и северным сиянием.
Но ты опять мой пропустил полёт,
Ты занят был собой и мирозданьем.

Ты занят был и пропустил сполна
Эффекты, слоги, все мои старанья.
Не нужно говорить, пусты слова,
Подумаешь... Всё просто, всё банально!

Туда, сюда и вниз, на дно.
Зажата жёстко между строчек,
И мир, как серое пятно,
Лишь многоточья вместо точек.

Идёт в нем грубая игра,
Там вместо правил – место боли.
И выйти из неё пора,
Но я играю в этой роли...

Собери меня из остатков
И наполни меня до краёв.
Состою я из беспорядка,
Суматохи из разных слоёв.

Собери меня из обломков,
Создавай меня и ваяй,
Зависаю над пропасти кромкой...
Сумасшествию не отдавай.

Собери, заberi и помилуй,
Вмиг сожги все сомненья дотла,
И запомни меня такой, милый.
Ведь тебя одного я ждала.

Одни часы спешат,
Другие отстают,
Вот только время вспять
Никак не повернуть.

Бегут, летят года,
Здесь километры лет,
Но только впредь туда
Обратно входа НЕТ.

Михаил Янкилевич

Бывает поэт...

Бывает поэт,
что давным-давно уже
ографелый,
Бывает поэт,
что не обзавёлся ещё и
графой.
У меня же
всё проще!
Я поэт, что пришёл проверить,
Хорошо ли
настроенный
здесь микрофон.
Но жизнь поменяет
нежную поступь
на подступающий к листу гнев,
Братьев Михиных
на братьев Пенчук,
Марусю на Кнару.
Так и я представляю
«Авангард»,
пока мне 35 не стукнет,
А как только стухнет,
то можно
и в «Парус».

Хвалебное

С норта до сауса, с веста до иста –
Всюду торжественно имя Господне,
Там, где равнинно, и там, где гористо.
Богом мир сделан и Им он исполнен.
Славой увенчан, почёт Ему воздан.
Поздняя ночь, за окном холодело
Чёрное небо в мерцающих звёздах,
А человек перед ними так мелок,
Но не умчит от него мразь морская,
Не устрасит его вой твари дикой,
Не улетит от него птичья стая,
Только его Бог оставил владыкой.
Ветер остылый снёс ветхие листья,
Пусть всё живое сегодня споёт мне:

«С норта до сауса, с веста до иста –
Всюду торжественно имя Господне!»

Наш мост

Мы достроили наш мост,
Он оказался разводным.
Кнопку кто-нибудь нажмёт,
и поплывут суда под ним.

Имена судов банальны,
Имена судов бессменны.
Проплывают между нами
Ссоры, ревность и измены.

Светит по ночам балда,
Её сменяет днём балдоха.
Помню, головой болтал
И вместе с этим горько охал

После фразы: «Час настал,
Ох, сколько боли мне принёс ты!»
Я бы прыгнул вниз с моста,
но рухну и не встав на мостик.

Половинки

Как много грустных девушек на улицах,
Зачем так часто с пацанами ссориться?
Там где-то и моя на что-то дуется,
Выкладывая сохранёнки в сторисах.

Нет разницы, с айфона или нокии:
С них шлют одни и те же эсмэски.
Как часто мы бываем одинокими?
Как часто даже прогуляться не с кем?

По узким тротуарам на Овражной,
По перетоптанным дворам на Кирова.
А сколько раз я был на первом в важных?
И сколько раз был после заблокирован?

Иду – знакома остановка каждая,
Смотрю на небо – крышами проколото.
Я, чтоб она не мёрзла и не кашляла,
Мне кажется, готов отдать полгорода.

Оле-оле-оле

Долго был тобой я болен,
Долго я тобой болел,
Как фанаты на футболе,
Что кричат: «Оле-оле!»

Полный стадион народа,
Полный стадион гудит.
Влезет хоть в одни ворота
То, что рвётся из груди?

Раньше о тебе я грезил,
Раньше тряся, стыд тая,
И дрожал как будто Эйзель,
Лишь представлю: ты да я.

Знай, что больше я не болен,
Знай, что я переболел...
А фанаты на футболе
Всё кричат: «Оле-оле!»

Вперёд, к заформалиненным акулам!

Всё в мире движется к своей цели, но по непонятному сценарию. Некогда художники, знающие настоящую цену искусству, пришли в недоумение, ведь оказался изобретён фотоаппарат. Живописцы растерялись. Получалось, что теперь не нужно скрупулёзно прорисовывать каждую чёрточку на портрете. Умение запечатлеть на века сделалось не таким и ценным. Эстафету перехватили технологии.

Сейчас то же самое происходит с литературой, и это можно проанализировать.

Желая убежать от могущества фотоаппарата, импрессионисты вышли на пленэр. Накося выкуси, чёрно-белая фото-бумажная правда! Мы будем широкими мазками складывать на холст яркие краски солнечных дней. И получалось. Импрессионисты пробирались сквозь толпу критиков и отмахивались от отказов Салонов.

Технологии шли вперёд. Фотографирование перестало быть жутковатым процессом. Голову уже не требовалось фиксировать пугающим инструментом, и не нужно было долго стоять не двигаясь. Вскоре запечатлеться на бумажной правде мог позволить себе любой, на эту правду даже яркие цвета стали складывать.

А художники бросились во все тяжкие. Двинулись в обратную от реализма сторону. Кубизм, конструктивизм, абстракция.

Накося выкуси, фотоаппарат! Сможешь ты зафиксировать галлюциногенные явления?

Раз технологии позволили остановить мгновение и превратить в картину всё сущее, живописцы сделали для себя целью изображать ничто. Торопились они к результату кто во что горазд, немало преуспел Казимир Малевич. «Чёрный

квадрат» – самое настоящее ничто, ничего ничтее ещё не придумали. Это был мощный шаг в обратную от академизма сторону. Потому полотно и считается шедевром.

Останавливаться не следовало. Творцы искали новые формы. Превратить фотографию в картину? Ваш выход, Энди Уорхолл. Создать полотно из страницы комикса? Жми, Рой Лихтенштейн. Можно просто порезать холст, Лучо Фонтана сделает это особенно изящно.

И тэ дэ и тэ пэ, вперёд, к заформалиненным акулам!

Технологии изменили устоявшееся понимание живописи, а с появлением интернета пришёл черёд литературы.

Долгое время книга являлась продуктом труда многих людей. Самый лучший вид этот продукт приобретал после того, как в него вложили силы редакторы, корректоры, дизайнеры и типографы. Если автора замечали в издательстве, это означало, что он как минимум не пустышка, а как максимум – гений.

Интернет повёл себя подобно Полиграфу Полиграфовичу, решил всё взять и поделить. Предоставил равные возможности и пустышкам, и гениям. Можно подобно тому же Шарикову не соглашаться ни с Энгельсом, ни с Каутским – спорить до хрипоты и кричать о деградации, но с технологиями спорить бесполезно. Они выиграют. Равные возможности обезличили работу людей, без коих раньше книга не создавалась. Теперь автору не обязательно иметь понятие о значении отдельных слов и о необходимости знаков препинания, необязательно даже знать, что прямую речь следует начинать с большой буквы. Он отдаёт себя на волю Word'a и не всегда богатой фантазии, а после спешит издать книгу на доступном ресурсе и указать приличную цену.

Площадка в сети – это прям Салон отверженных. Там выставлялись художники, чьи картины не приняло официальное жюри.

Да, современный писатель не считает, что должен иметь понятие о грамотности, но в классической живописи тоже существовали правила, а импрессионисты их нарушали.

Дальше будет больше.

Интернет, как некогда фотоаппарат, облегчил процесс выпуска текста в большой мир, и иные авторы ощутили растерянность. А затем перешли к упрощению, став кидать широкими мазками краски на безразмерный холст Всемирной паутины.

Начали появляться новые жанры, а книги приобрели непривычный вид. Пожалуй, следует ожидать литературного футуризма и повествовательного сюрреализма. Попытки уже предпринимаются.

И вперёд, к заформалиненным акулам!

Это не хорошо и не плохо. Это совершенно закономерно. Можно придумывать, что во всём виноваты Запад со своими происками и кризис системы образования. Можно видеть кругом гибель русского языка и сокрушаться, что в гробу переворачивается наше всё – то самое, замеченное стариком Державиным, который «в гроб сходя, благословил».

Только против реальности не попрёшь. Когда для изменений складываются предпосылки, эти изменения происходят, хоть костями ляг.

Мне вот даже интересно посмотреть, создаст ли некий одарённый писатель совершенное ничто в литературе. Такое, чтоб прославилось не меньше «Чёрного квадрата».

Существует ли талант?

Размышления о писательстве и не только

Нынче в талант верить не принято. И в одарённость. Вообще в какую бы то ни было врождённую гениальность. Даже самую мизерную. Ибо на кой фиг? Всему же научиться можно.

Раньше вера в талант имела солидные размеры. Умение сочинять истории, писать картины и лабать на арфе какой-нибудь чуть ли не даром свыше считалось.

Но во все времена кто-то долго и упорно учился мастерству, а кто-то просто сел и ваял. Не важно, что ваял, скульптуру или надгробие, важно, что талантливо.

Ещё совсем недавно, чтобы выйти на Красную площадь и крикнуть «Долой Буша!» четырёхстопным ямбом, требовалось хоть какое-то поэтическое чутьё. Сейчас же можно заглянуть на тематический вебинар и, глядя в зеркало, поздравить себя с превращением в поэта. При этом поэтом ты, разумеется, можешь и не быть, но заплатившим быть обязан.

Не так давно вяло знакомые мне люди с пеной у рта доказывали, что таланта не существует в принципе. Никакого. Есть лишь ремесло. То есть проштудированные основы дела, помноженные на долгий и упорный труд. А недавно я беседовала с подругой, и в разговоре закружились имена Зулейхи и небезызвестной Гузели Яхиной.

– Видно, что она мастер, – сказала о писательнице собеседница, – текст проработан, всё такое, но нет искры Божьей...

Верить или не верить в искру – личное дело каждого. Так же, как верить или не верить в пославшего её. Но возникает вопрос: почему творчество одних авторов вызывает спокойную реакцию («Ну да, вроде интересно»), а произведения других затрагивают некие чувствительные области души. Этакие точки G книголюбца. «Вау! Это ж надо так!»

Возможно, гениальность всё-таки существует. Возможно даже, она не так уж и редка. Только вот как определить?

Имя известного режиссёра часто треплют, обсуждая не сильно качественное кино. О нём говорят, как о ремесленнике, а вот его отца поминают, как несомненно талантливого мастера: «Вот он снимал, так снимал!» Однако отец, пусть и считался гением, пусть и жил искусством, пусть и остался в памяти, теперь канул в Лету. А вот сын живёт и здравствует. Причём неплохо живёт. Это состоятельный и успешный ремесленник.

А всё потому, что ремесленником быть удобнее. Он видит цель и не замечает препятствий. Он знает, где подмазать и с кем задружить, чему научиться и с какой стороны зайти. Тогда как гений рефлексивен, страдает, призывает музу и костерит бесчувственный мир.

Гении, как правило, не приспособлены к тому, чтобы толкать своё творчество в массы. Они способны крикнуть «Долой Буша!» гекзаметром, но не знают, как пригласить людей это послушать, а затем возликовать. Ремесленник же чувствует в себе силы изучить не только мастерство, но и способы продажи его плодов.

Гениями рождаются. У талантливых художников все возможные поверхности в доме расписаны уже в том возрасте, в каком эти самые художники научились передвигаться по квартире на двух конечностях. Когда ходишь на четырёх – рисовать сложно, но если тебе, допустим, полтора года исполнилось – вперёд! Рисуй! Впоследствии эти поверхности (двери, куски обоев) продаются за большие деньги.

Ремесленниками же становятся. Человек может внезапно, в тридцать лет, решить: «А напишу-ка я книгу. Прославлюсь, разбогатею». При этом читать он никогда не любил, усидчивостью не награждён, а о мастерстве знает лишь, что там слова требуются всякие. Но он учится.

Имена гениев остаются в веках, ремесленников забывают быстро. Вот только труды гениев иногда начинают приносить прибыль лишь после смерти автора, тогда как ремесленники хотят жить здесь и сейчас. И это вполне объяснимое желание. Потому эти люди творят на потребу публике.

Гении стараются не называть себя творцами (писателями, художниками). Они всё время сомневаются, дотягивают ли до громкого эпитета. Именуют себя так разве что уже тогда, когда окружение их признало. Ремесленникам же достаточно набросать пару абзацев или изобразить несколько линий на холсте, как они сразу начинают себя пафосно именовать писателями и художниками.

Гении не могут не творить. У них весьма сильна потребность. Ремесленники же способны запросто бросить дело, если оно не приносит ожидаемых результатов.

Впрочем, все эти выкладки (или некоторые из них) могут показаться логичными лишь тем, кто не сомневается, что

талант в природе существует. Отрицателям данного явления упомянутые различия покажутся смешными и надуманными.

В одном из произведений Эдуарда Лимонова рассказывается, как приятель обвинял автора в том, что тот считает себя грёбаным гением. Утверждал, мол, на самом деле, тот ничего из себя не представляет, а потому не стоит и выпендриваться. Автор же с оппонентом уверенно спорил. Твердил, типа да, он таки грёбаный гений. И становится ясно, что сам Лимонов в этом никогда не сомневался. Может, именно поэтому он и добился известности? Потому что верил в свою исключительность.

Так вот: гений верит в свою исключительность. Ремесленник – нет. Выходит, что он не верит сам в себя. А если человек сам в себя не верит, поверят ли в него другие?

Мастерству можно научить, но гениальности не научишь никогда. А мастерство без таланта – ширпотреб. Однако продаётся хорошо, потому ремесленники от ненужности не страдают.

И, конечно же, гении тоже много трудятся, постоянно учатся и совершенствуются. И даётся им это много проще, чем ремесленникам. Только вот ремесленники всё равно живут лучше.

Сейчас много людей, желающих стать писателями. Соответственно, появляется множество тех, кто обещает научить этому делу. И мастерству, и продвижению. Любой каприз. Ибо спрос рождает предложение, не иначе. Но есть ли толк?

В Литературном институте преподаватели говорят, что научить писательству нельзя. Они и не учат. В институт поступить могут изначально одарённые, а в период ученичества они лишь оттачивают мастерство. Успешные авторы говорят: «Не надо ничему учиться, просто садись и пиши!» Однако школы и курсы писательского мастерства всё равно весьма популярны. Люди не хотят чувствовать, что родились писателями, они желают осознавать, что стали ими. Время сейчас такое, поощряющее добиваться поставленной цели.

Это не хорошо и не плохо. Просто факт. Итог: предложение на рынке литературы уже практически превышает спрос. Действие рождает противодействие. Чем больше вокруг читава, тем ленивее читать.

Роднит талантов и ремесленников от писательства одно: они одинаково хотят признания. Жаждают услышать положительные отзывы от друзей и читателей, но, главное, от профессионалов. Потому что по-настоящему писателя способен оценить только профессионал: издатель, солидный автор, редактор журнала, член официального писательского союза. Даже если человек не верит в талант, он мечтает, чтобы в нём этот талант признали. Оттого неувязочки возникают: талант-то есть не всегда. А уж если есть, то он у всех такой разный, что временами и не поймёшь.

Так и плывём...

Невесомые вершительницы судьбы

(о прозе Ирины Иваськовой)

Ирина Иваськова когда-то переехала из Красноярска в Анапу, и одновременно с этим произошел её выход к читателю с малой прозой. Уже первые её публикации заставили удивляться: как всё ладно скроено и на своих местах, а «концы», по швейному сленгу, с изнанки оставлены — тонкая работа. Большое упущение для больших книжных премий — жаль, что до сих пор не заметили этот драгоценный камень в писательской *marchés aux puces*¹. Бегло читающие назовут её рассказы реалистичными, внимательно разбирающие найдут черты фантазмагории, сна и подсмотренного полонеза архетипов, а также следы выучки у раннего Достоевского, Набокова, Хемингуэя, Бунина, Тургенева, Петрушевской, Улицкой... Её почерк слагается из аллитерации, ёмких эпитетов, размытия границ между рефлексией лирической героини и антагониста; малая форма стремится объять целую внутреннюю вселенную.

Львиная доля героинь Ирины Иваськовой несёт в себе нечто общее и любопытное с точки зрения психологии искусства: отчего им не удастся преодолеть душевный разрыв, диссоциацию, почему им не верится, скорее даже, не надеется на любовь? Они будто бы знают, что роза прекрасна, лишь пока она любит свою хрупкость, но стоит ей заматереть, стать каменной опорой всему-всему, — и никто больше не возьмётся слагать в честь неё песнь: «*rosa das rosas, sennor das sennores*»². И всё же её героини — невесомые вершительницы судеб.

1 По-французски — блошинный рынок.

2 Текст Кантиги X на старопортугальском: роза среди роз, сеньора из сеньор.

Эта проза многослойна. Сюжетная поверхность короткого рассказа «Белка» до оскомины обыденна: отношения мужчины и женщины трещат по швам и разрываются. Если настроиться на иную глубину, то первое же предложение: *«задумано было так»* — обернется ключом к описываемой затем комнате как выдуманному, идеальному микромиру: мебели почти нет, полка — для книг, штора прозрачна и не закрывает собой вид на не до конца ещё созданный мир неразделённого неба и воды. И мир этот женский, к нему прилагается белое платье в пол — символ невест и святых. Если обратиться к трансляции архетипов при помощи одежды, то окажется, что такое платье могли бы надевать Простодушный или Мудрец, но не будем забывать, что длинное платье — также деталь облика Опекуна. Старинные кольца с камнями указывают на связь с прошлыми поколениями, но в рассказе героиня тяготеет этой связью, её бабка для неё — «немошь», бесполезная, но требующая заботы, опекунства.

И всё же героиня не ищет спутника, готового разделить груз ответственности, не надеется, а уповаает хотя бы на встречу со Зрителем, но какой может быть зритель у той, кто описывает себя так придиричливо, что в тексте солью выступает низкая самооценка? Иваськова осуждает подобную позицию, но не теряет сочувствия к персонажу, старается быть честной в описании фантазий лирической героини: в выдуманной персонажем комнате не нашлось места «мужскому» предмету интерьера, мужчину здесь действительно не ждут. Ладным выходит и эндшпиль текста: именно бабка протягивает ей белое платье Мечты. Сочувствие и любовь делают нас людьми и согревают своими плодами.

В рассказе «Норма Джин» тоже упомянуто белое платье, только здесь мы погружаемся ещё только в детство героини. *«Маленькую Норму Джин забыли очень быстро»*, — забыли своё детское состояние, в котором платье Мечты не было потеряно, а под балконом поджидали толпы зрителей, хотя истин она им никаких не высказывала.

«Ирбис» — об отрочестве, о предательстве, особенно горьком от того, что было первым. Герой сбегает в большой и интересный мир, не подумав взять с собой Риту, переоценившую серьёзность первых своих отношений. Ирбис не только чучело из местного музея, но и, в каком-то смысле, мужчина: жестокий, притягательный, опасный хищник, воспринимающий женщину как добычу, жертву. Не сумев сбежать в лучший мир, героиня глубже закапывает свою душу в экзистенциальное болото, убеждает саму себя, что такая реальность — без любви и надежд — ей даже нравится.

Юродство и кликушество — признаки либо безумия, либо большого ума, и автор держит читателя в амбивалентном неведении так долго, насколько это возможно, описывая жизнь героини рассказа «На тёмных берегах». Верка не верит себе самой, и даже описания природы подтверждают её страх перед достижением желаемого: *«за скользкими камнями виднеется море»* — если море и есть Мечта. Во внешнем море она пытается раствориться, страшась необходимости насаждать себя во внешнем мире, отвоевывать его клочки для своего существования. В мирке этой героини мужчине была бы отведена роль археолога, которому первоначально предлагалось найти её, изучить и водрузить на пьедестал, но этого не происходит.

Со временем у Ирины Иваськовой появились рассказы большего объема, введение нескольких сюжетных линий и рассказчиков потребовало чередования атмосферы и разного эмоционального фона внутри одного произведения. Так в «Будь моим деревом» получил право рефлексии Олег Петрович, существующий где-то в серой середине дихотомии добро-зло. Человек во многом сомневающийся, подверженный шаблонному мышлению, но всё же внутренне не стремящийся к разрушению мира вокруг себя — этих качеств оказывается недостаточно для того, чтобы сделать кого-то ещё счастливым. Если молодая героиня сразу ведёт его в дом, то зрелая сначала бросается к нему в объятия, а после высвобождается с ясным осознанием: не он её суженый, не он вершитель её судьбы. До

того, как две сюжетные линии, мужская и женская, сойдутся, читателю будет показана имитация счастливого быта: состояние распространённое, но завернутое автором в нетипичную «упаковку» — не всякой семье приходится именно работать счастливой семьёй в чужом коттедже.

Finale подобного типа героинь у Ирины Иваськовой показан в «Улице Кудрявого». Верочка Николаевна, пенсионерка, торгует на улицах геранью как символом семейного очага и домашнего уюта, — и никому это не нужно. Людмила, также женщина на склоне лет — торгует книгами, Мудростью, — здесь тоже не очевидна её нужность миру. *«Когда дожди кончились, все приготовилось к укорачиванию, свежеванию, покрытию чистым, прочным и блестящим»*, — обращает на себя внимание слово «свежевание»: лирическая героиня всё ещё бунтует против превращения себя в железную женщину. А что мужской персонаж? Занят эпистолярным жанром, пишет, что так рад был получить послание, что даже всплакнул. И представляется это письмом, случайно залетевшим из XIX века, хотя говорят, что даже в Средневековье люди чаще плакали от радости, чем сейчас, — в эпоху, когда всё перемешалось, искренность и хрупкость оказались оболганы как слабость, а силой ошибочно считается культ machismo и стальные нервы...

Опубликовано в литературном журнале «Формаслов»

На берегу этой тихой реки

(о книге Сергея Лёвина «На берегу безымянной реки»)

Никогда ранее в русской литературе, пожалуй, не существовали столь разные (подчас полярные) взгляды на русскую деревню, как в первой половине XXI века. Деревня как проблема, как прошлое, ад, рай, мистический Авалон без

интернета — и когда доведётся встретить просто деревню, не идеализированную и не демонизированную, вглядываешься в неё особенно внимательно.

Сергей Лёвин, поэт и прозаик, выросший в Тамбове и переехавший в Анапу, с жизнью в регионах знаком и в своей повести «На берегу безымянной реки» для взрослых и подростков (из-во «Традиция», 2021) стремится обо всём рассказать подчеркнуто открыто и объективно.

Лёвин сознательно не называет ни город, ни станицу, ни реку; хотя и не отказывается от топонимов вообще (улица Виноградная, плато Лаго-Наки и прочие), и наверняка делает это, чтобы каждый смог ощутить сопричастность знакомого ему посёлка — к описываемому. Не стоит забывать, что слово станица имеет и переносное устаревшее значение — большое скопище людей или животных, наконец, просто общество. Кроме того, название книги отсылает к одноимённой песне Наутилуса Помпилиуса.

«Однажды жарким летним днём в речной глади отразился Костя Котов, и с этого момента жизнь мальчишки изменилась навсегда...». Щуплый, в ношенной одежде, выросший в неполной и даже неблагополучной семье герой Костя должен будет эволюционировать в сильного и уверенного в себе: автор закручивает сюжет по образцу американских комиксов второй половины прошлого века, и это проверенная, удерживающая внимание подростков метода; разве что сажает всё на почву небольшого кубанского городишки и кубанской станицы. Другой вопрос, что есть сила, которую должен обрести герой, и где начинаются границы слабости, что предпочесть: благородный поступок или выживание? Как постоять за себя и других в современном мире? Автору не впервые удастся извлекать решение из этих морально-этических уравнений, не читая читателям нравоучений и не требуя невозможного от героев.

Но столкновение с жестокостью драки — не единственный вопрос, который всколыхнет Костю Котова (отсылка к родному городу писателя — Котовску). Отец Кости — наркоман. Тема, о которой не всякий подросток решится заговорить со взрослыми, и автору пришлось приступать к этому разговору, заранее отметив для себя точки, где он мог бы свернуть в канаву «чернухи», смакования зла, и счастливо этого избежать. Будет и ложь стеклянных глаз, и ломки на марктовском острове, и галлюцинации — но Лёвин отвечает на вопрос об избавлении от болезни так: важна среда, люди, которые тебя окружают («станция» в переносном смысле), их опыт в подобном деле, воля и настойчивость — и тогда можно будет говорить «возможно», всё ещё «возможно» — а не «наверняка».

Автор обращался к достаточно суровой тематике ещё на заре своего творчества, рисуя «город накрытый/ нищим теплом» в поэме «Замкнутость маленького города» (1998), частичное зеркало нарратива «На берегу...» можно обнаружить в ранней повести о 90-х «Сезон падающих ангелов» (1997–2003). И всё же «На берегу...» другая: сгодился опыт в детской литературе, и конструкции юмора здесь строятся по её законам: «К нам пришёл новый учитель, у него две головы, зелёный хвост, и он инопланетянин. — Ну, хорошо». «Светка Некрасова на перемене играла в классики, не рассчитала силы и провалилась сквозь землю. — Ну, хорошо».

В арсенале анапского автора ясно читаемая речь, стилистически вобравшая в себя одновременно советскую прозу, Кинга и литературу боевиков. Наблюдательность принесла ему коллекцию региональных перлов уличной разговорной речи: калымить, доколёбываться и т.д. Короткие фразы удаётся сделать философичными («инъекция миром»), а длинные он пускает на службу психологизма: «Но слова застряли в горле, нагромоздившись одно на другое, стреножили связки,

и Костя лишь кивнул»; «И тогда мальчик всё же заплакал. Не от горя, а от безразмерного, огромного, как разноцветный воздушный шар, чувства, переполнившего его и вместившего всё сразу: печаль и тёплое счастье, разочарование и надежду. И полузабытую уверенность, что ты кому-то нужен и важен». Есть и забавные образы, разве что перечисления порой тянет заменить чем-либо ещё: «За стеклом плавали, как лилипуты-водолазы, в кипятке пупырчатые огурчики, аккуратные помидорки, ломтики моркови и...»

Откуда в повести взялись вставные новеллы о казаках-предках, сражавшихся в обе мировые войны? Дед Сергея Лёвина — казак, одним из первых вступил в ряды казачества при его возрождении. И всё же разрыв времён между современным казачеством и казачеством XIX века получился столь глубоким, что нынешнее находится ещё только в поиске своей функции и в процессе её осознания.

Писатель предлагает держаться за связующую нить — истории былых подвигов, и образ славного боевого прошлого воплотится в дне сегодняшнем. Описанный казак почти идеализируется — печёт пироги (отдельная благодарность автору за то, что показывает нестыдными «женские» занятия для мужчин), легко принимает решения в трудную минуту и печётся о защите слабых, разве что в некоторых своих убеждениях несколько заостренел: ту же депрессию отказывается воспринимать болезнью. Но раз уж возникает желание говорить об убеждениях литературного героя — значит, он получился живым, реалистичным.

Занятно, что в описываемой Лёвиным части мира не хватило места женщинам: мать героя мертва, а сверстницы Кости ещё не стали для него настолько интересными, или же главный герой пока не решился вывести для себя их новую значимость. Так что никакой романтики и воздыханий под розовым кустом, хотя их и так днём с огнём не сыщешь в современной реалистичной прозе; как видно, у современного

героя возникла иная необходимость — для начала разобраться в себе самом; говоря «желаю», сегодняшний герой прежде жаждет осознать, откуда проистекают его бывшие бессознательными желания.

«На берегу безымянной реки» выбирает интонацию доброго родителя, готового объяснить подростку (да и взрослым, пожалуй, тоже), отчего в мире есть такой-то и такой-то тип зла и как с ним можно бы попробовать бороться. «Добрый родитель», который не боится столкновения с неудобными вопросами и не переводит внимание на облака в форме зверей. У писателя-реалиста ведь нет прав выдумывать другой мир — ему остается научить читателя любить и ценить проявления общечеловеческого мира, видимого всеми и осязаемого. Но не стоит думать, что в нём нет чудесного, главное чудо — это то, что мы способны найти в своей душе место для ближних.

Опубликовано в литературном журнале «Сибирские огни»

Десять лет – полёт нормальный

Человек приходит на Землю, чтобы воплотить некие замыслы Вселенной, достигать самосовершенствования, помогая окружающим людям достичь понимания – для чего каждый из них здесь? И, конечно же, чтобы оставить в вечности частицу себя.

Десять лет назад во время смены руководства в анапском литературном объединении «Парус» мне предложили стать главным редактором литературного альманаха «Парус», на что я с радостью согласилась. И в тот же момент моя дочь Алина напомнила, что я уже много лет мечтала о создании молодёжного литобъединения, так и сказала: «Мама, пора. Похоже, момент настал». Новый руководитель литобъединения «Парус» Надежда Казанина всецело поддержала нашу инициативу. Мы обзвонили юных писателей, которые хоть раз попадали в поле зрения «Паруса».

На первую встречу новоявленного объединения пришли пять молодых авторов. Большинство из них были растеряны, удивлены и даже задали вопрос, зачем мы здесь собрались? Мой ответ был прост: «Чтобы внимательно выслушать вас и помочь». К концу встречи начинающие поэты и композиторы, вдохновлённые общением, уже спрашивали, когда соберёмся ещё.

На следующий день позвонили из редакции интернет-издания – не каждый день на свет появляются новые литературные объединения, да ещё молодёжные. Для статьи необходимо было название ЛИТО. Я, конечно, растерялась – продумав концепцию организации, цели и задачи, процесс и пути, ведущие к развитию талантов начинающих писателей, вроде бы всё предусмотрела, но вот о названии даже и мысли не возникло. Название надо было дать немедленно, и я неожиданно для себя выпалила: «Авангард», литобъединение

называется «Авангард». Так название и родилось – спонтанно, но оказалось судьбоносным – у молодёжного объединения просто не было выхода, как встать в авангарде литературы города Анапы и не только. Анапа – специфический город-курорт, который очень любят посещать творческие личности со всей нашей необъятной страны. Вливаясь в «Авангард», всё новые и новые юные писатели, музыканты, художники, расширяют географию участников объединения: Санкт-Петербург, Москва, Карелия и т.д.

Творческий человек мечтает быть услышанным. И первая литературно-музыкальная встреча «Тет-а-тет со Вселенной», полностью выстроенная из произведений поэтов, прозаиков, авторов-исполнителей «Авангарда», произвела фурор в культурном сообществе Анапы.

Спустя несколько лет мы создали младшую группу «Авангарда» для юных писателей от 9 лет до 21 года, которую возглавила Алина Хомич. Результат активной и кропотливой работы не заставил себя ждать – рассказы юных писателей начали побеждать сначала в региональных, а затем и во все-российских литературных конкурсах.

В 2017 году «Авангард» получил звание народного коллектива, и в 2021, спустя десять лет со дня основания, с честью подтвердил это почётное звание.

Прошло десять лет, насыщенных фонтанирующим творчеством талантливых авангардистов. В арсенале «Авангарда» литературно-музыкальные постановки, выступления на площадках города, участие в городских мероприятиях, победы в региональных, всероссийских и международных литературных и музыкальных конкурсах, выпущены четыре сборника «Авангард. Осязаемая реальность», десятки книг прозы и поэзии авторов. Произведения авангардистов вошли в литературные сборники краевого Союза писателей России, при всецелой поддержке руководителя Краснодарского отделения СПР Светланы Николаевны Макаровой и члена правления СПР Василия Владимировича Дворцова. Пять писателей

«Авангарда» были приняты в члены Союза писателей России, трое – в Международный союз писателей и мастеров искусств, есть члены Союза российских писателей, Союза журналистов России, Союза художников России. Всегда мы ощущали поддержку управления культуры города, директора Центра культуры «Родина» Натальи Валентиновны Березенко и, конечно же, прессы, освещающей деятельность «Авангарда», в лице нашего друга и соратника Сергея Лёвина.

Уходя с поста руководителя по состоянию здоровья, я была счастлива, что в литобъединении образовался мощный костяк из разноплановых и очень талантливых писателей-друзей, поддерживающих друг друга и в творчестве, и в жизни. Я очень благодарна вам, дорогие мои авангардисты, за ваше творчество, за ваше желание в любой момент прийти на помощь соратникам по перу.

Сейчас руководит литобъединением «Авангард» очень талантливый писатель Ирина Иваськова, вошедшая в исполком Совета молодых литераторов Союза писателей России, продолжая расширять горизонты для начинающих писателей Анапы.

Милые мои, дорогие литераторы «Авангарда», настоящий сборник, посвящённый десятилетию литобъединения, – вдохновляющий отчёт о вашем самобытном творчестве, вашем познании мира и его отображении посредством слова. Желаю бесконечных свершений и неиссякаемого вдохновения, дорогие моему сердцу авангардисты!

Прыгнуть выше головы

Единственное, что мне всегда не нравилось в «Авангарде», это название. Авангардный стиль никто из литобъединения не исповедовал – максимум, были эксперименты в стихах, да и то в пределах игры с ритмикой, не больше.

А вот ярких и интересных авторов за 10 лет отметилось немало. Были те, кто откровенно хулиганил (Алексей Шумный), и те, кто искал свой неповторимый стиль (Иван Лимонкин), компилируя занятия поэзией с... жонглированием и клоунадой.

Был пример, когда поэт рождался на глазах – Андрей Саров начинал с простеньких, но всё равно отмеченных печатью и печалью личной интонации текстов. А потом он профессионально рос и рос, очень быстро, упорно, уверенно, и в стихах, которые Андрей читал нам вслух незадолго до ухода из «Авангарда», таились такие мощь и глубина, такой космос, что у меня мурашки мчались наперегонки по коже. Потом случилось то, что случилось, и мне до сих пор искренне жаль, что мы потеряли Сарова как творческую единицу.

С теплом вспоминаю интеллигентного, мягкого, но упрямо гнущего свою линию барда Никиту Францева, талантливую и полную обаяния Наталью Кореневу, романтика с гитарой Максима Кутина и влюблённую в творчество Аню Игнатову, ироничного Диму Мещерова с его укулеле, а также несправедливо рано покинувших этот мир поэта Алексея Ульева и музыканта Антона Самсонова.

Сколько их было – авторов «Авангарда» – за всё это время? Никто не считал, да и не так уж это важно. Литобъединение – живой организм: кто-то уходит, кто-то приходит, всё течёт и меняется. Одни уехали из Анапы покорять большие города, другие просто перестали писать – такое бывает и нередко, третьи выросли из коротких штанишек и сейчас протаптывают свою тропу в литературе – иногда успешно. А четвёртые

остались и составляют костяк «Авангарда» сейчас. Их произведения вы найдёте в юбилейном сборнике.

Все эти годы я неизменно оставался «плохим полицейским» при разборе текстов – реплика «Это не стихи!» стала локальным мемом. Но, критикуя, я искренне хотел помочь авторам сделать их произведения лучше, прыгнуть выше головы, добиться большего. И я рад, что иногда, пусть редко, это получалось.

Ольга Хомич сделала важное, большое дело – объединила всех нас, таких разношёрстных, разнотемпераментных, разностилевых. И долгое время оставалась «добрым полицейским» для всех, кто попадал в прокрустово ложе моей критики, и, наверное, самым миролюбивым, всегда готовым поддержать своих питомцев руководителем.

Литобъединение прошло через многое: были коллективные и сольные выступления на городских и краевых площадках, собственный альманах, встречи с писателями и поэтами со всей России, фестивали и семинары, а ещё испытание пандемией, когда, несмотря ни на что и вопреки всему, удалось преодолеть все сложности и не растерять людей. Много было...

Сейчас, глядя на эти 10 лет, отчётливо понимаешь, что «Авангард» стал литературным явлением, вышедшим далеко за рамки местного и регионального уровня. И я искренне горд, что стал свидетелем того, как в мае-2021 на Всероссийском совещании в Химках председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев вручил нынешнему руководителю «Авангарда» Ирине Иваськовой диплом 1-й степени – за победу в конкурсе молодёжных лито всей нашей страны.

И сейчас мне нравится всё, включая название.

«Авангард» – в авангарде. Всё правильно. Всё и все на своих местах, а значит, юбилей удался.

Содержание

ПРОЗА

Екатерина Годовых

Моя анапская одиссея..... 6

Ирина Иваськова

Будь моим деревом 10

Сергей Кропотин

Небелия 26

Дарья Лакиза

Казачонок..... 40

Сергей Лёвин

Внутри меня море 43

Анна Ходотай

Возвращение..... 57

Алина Хомич

Монетка..... 64

Ольга Хомич-Журавлёва

Чёрный кот..... 66

Константин Чиганов

Испанский сон 71

СТИХИ

Ильяна Горковенко

Шоумен и лев 82

Матильда..... 83

Эйсоптрофобия	84
«Закружила холодная темень...»	85
Не забывай меня, мой друг	85
Костёр.....	86
Дождь	88
«Хоть небросок и выглядит просто...».....	89

Алина Евлюхина

«Расскажи мне, как...»	90
Космический беспредел	90
«Просто потому что есть ты...»	91
«Поговорим с тобой в последний раз...».....	91
«Биоритмы Земли на паузе. Дети 80-х...»	92

Татьяна Ефимова

«Воздух пахнет снегом и рябиной...».....	93
«Я, потянувшись, проснулась...»	93
«Пристрели меня. Что тебе стоит...»	95
«Сегодня меня посетила волшебная фея...»	96
«О нет, нет, ты не навсегда в душе моей...».....	96
«И чайник закипает на плите...».....	97
«Над глубоким омутом у реки широкой...»	98
«В её доме с резною открытой верандой всегда пахло летом...»	98
«И белой строчкой облаков...»	99
«Мой цвет любимый – цвет кубанских рек...».....	100
«Люблю шторма – чтоб ветер по щекам...»	100
«И песни волн морским многоголосьем...»	100
«Всё уходит в туман безвозвратно...»	100
«Плыл раскалённый воздух маревом...».....	100
«Расплескалась небес синева...»	100
«—А можно мне на завтрак вместо кофе море?»	100

Наталья Иванова

Я желаю.....	101
Себе	101
Север	102
Призрак города. <i>Ликвидаторам аварии на ЧАЭС</i> <i>посвящается</i>	103
Она умеет.....	103
Любимому автору	104
20 строк.....	105
Наш двор.....	106

Мария Казаковцева

Осеннее нашествие	107
Железная дорога.....	107
Любовь астронавта	108
Космические насекомые.....	109
Бегущая по волнам	110
Дождь спрятал меня от друзей... ..	111
Кофе.....	112
Стихи июня	113
Кузнечик.....	114
Птичьи страницы	115

Екатерина Меркурьева

«Мы с тобою единое целое...».....	117
«Ничего не изменит кольцо...».....	117
«Сегодня звездопад стучал по крышам...»	118
«Туда, сюда и вниз, на дно...».....	118
«Собери меня из остатков...»	119
«Одни часы спешат...»	119

Михаил Янкилевич

Бывает поэт.....	120
------------------	-----

Хвалебное	121
Наш мост	121
Половинки	122
Оле-оле-оле	123

ПУБЛИЦИСТИКА

Елена Суханова

Вперёд, к заформалиненным акулам!	124
Существует ли талант? <i>Размышления о писательстве и не только</i>	126

Дарья Тоцкая

Невесомые вершительницы судьбы (<i>о прозе Ирины Иваськовой</i>)	131
На берегу этой тихой реки (<i>о книге Сергея Лёвина «На берегу безымянной реки»</i>)	134

Ольга Хомич-Журавлёва

Десять лет – полёт нормальный	139
-------------------------------------	-----

Сергей Лёвин

Прыгнуть выше головы	142
----------------------------	-----

Литературно-художественное издание

10 лет
ЛИТО «Авангард»

*Сборник стихов, прозы и публицистики участников
анапского молодежного ЛИТО «Авангард» –
победителя Всероссийского конкурса
литературных объединений «Литосфера»*

Верстка – *Ю.И. Кабанова*
Дизайн обложки – *Илья Копанев*

Издательство «Новация»
г. Краснодар, ул. Фадеева, 429.
www.file-maker.ru; info@file-maker.ru
Тел.: 8(861) 266-95-39, +7 961 52-36-146.

Подписано в печать 01.10.2021. Формат 60*84/16. Бумага офсетная.
Печать цифровая.
Усл. печ. л. 8,6. Гарнитура шрифта «Times New Roman». Тираж 100 экз.
Заказ № 815.